Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Все книги автора](http://royallib.ru/author/garsiavalino_ignasio_.html)

[Эта же книга в других форматах](http://royallib.ru/book/garsiavalino_ignasio_/dve_smerti_sokrata.html)

Приятного чтения!

# Игнасио Гарсиа-Валиньо

# ДВЕ СМЕРТИ СОКРАТА

Об авторе

Испанский психолог, писатель и киносценарист Игнасио Гарсиа-Валиньо родился в Сарагосе в 1968 году. Автор сборника «Музыкальная шкатулка и другие рассказы» и четырех романов: «Неотразимый нос Вероники» (премия Хосе Мариа де Переды), «Урия и царь Давид» (1997), «Нежность скорпиона» (1998) и «Удивительное дело — тишина» (1999). Роман «Нежность скорпиона» вошел в шорт-лист премии Надаля.

**Посвящается Ньевес**

Я хотел бы поблагодарить Хосе Солану Дуэсо за оригинальный взгляд на историю.

Человеческая жизнь — мгновение;

суждения — тусклый отблеск свечи.

*Марк Аврелий[[1]](#footnote-1)*

Жаркая и златокудрая, горькая и прекрасная,

жница на залитых солнцем полях,

бредешь, изнуренная, внимая звукам дивной флейты древнего бога,

лицо подставив нежному ветру, и думаешь о светлой богине.

*Альберто Каэйро*

## ХРОНОЛОГИЯ

469 до н. э. — рождение Сократа.[[2]](#footnote-2)

465 до н. э. — рождение Аспазии Милетской и Продика.

449 до н. э. — Аспазия приезжает в Афины.

445 до н. э. — свадьба Перикла и Аспазии.

429 до н. э. — смерть Перикла.

417 до н. э. — Необула поступает в «Милезию»

410 до н. э. — встреча Необулы и Алкивиада.

407 до н. э. — возвращение Необулы в Афины.

406 до н. э. — катастрофа при Аргинузах и суд над флотоводцами.

399 до н. э. — смерть Сократа.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА I

Самый горький урок в своей жизни Необула получила в двенадцать лет, когда почти ничего не знала о плотской любви. Она покинула родной дом хрупким подростком и не успела привыкнуть к похотливым взглядам мужчин. Чума унесла в могилу мать Необулы, отец попал в плен к спартанцам и нашел смерть в Сиракузских рудниках. Один из его братьев пал в битве при Антиполисе[[3]](#footnote-3), другой тоже сгинул где-то на полях сражений. Из родственников у девочки оставалась только совсем дряхлая двоюродная тетка, неспособная позаботиться о племяннице, — она и продала Необулу в роскошный дом свиданий Аспазии.

Девочка много слышала об Аспазии из Милета, вдове Перикла[[4]](#footnote-4): говорили, что у нее было множество любовников, что она прекрасно образована и имеет влияние на самых именитых людей города, что под видом дома свиданий она держит школу для свободных женщин.

Сорокавосьмилетняя Аспазия отвела Необулу в храм Афродиты. Возложив к ногам богини пышный венок, девочка сбросила тунику. Аспазия придирчива ее осмотрела: тело малышки еще не сформировалось, но в будущем она обещала стать самой красивой гетерой в доме свиданий. Ее большие глаза сверкали, словно два сапфира. Девочка была тонкой и гибкой, и Аспазия решила, что она быстро научиться ублажать мужчин. Новая хозяйка Необулы сказала, что жизнь гетеры не сахар, и для того, чтобы выжить, понадобятся ум и твердость. А пока девочке полагается быть послушной. Ее научат грамоте, музыке и танцам, стихосложению, правильной речи и женским хитростям. В «Милезии» ее всегда ждет кров, стол и защита, а за это ей придется хорошо работать. Необула растерянно кивала. Аспазия добавила:

— Тебя ждет твой первый мужчина. Он заплатил за тебя очень много, ведь ты девственница. Я должна тебя предупредить, что в первый раз бывает больно. Запомни хорошенько: любви без боли не бывает.

Необула совсем не боялась. Она верила, что горести остались позади и теперь она обретет новую семью, которая позаботится о ней и поможет стать настоящей женщиной. Вскоре хрупкая девочка в прозрачной сорочке, не скрывавшей ни темных сосков, ни черного треугольника между белых бедер, потупив взор, предстала перед нетерпеливым гостем.

В спальне мужчина разделся, не выказывая никаких чувств, словно не придавал этому ритуалу никакого значения. Необула зарделась от стыда. Ему было лет тридцать: тонкие черты, аккуратная борода, дорогая туника и башмаки из хорошей кожи. Гладкие, ухоженные руки выдавали в нем богача. Необула стянула сорочку, стараясь не смотреть на возбужденный пенис мужчины. Мужчина рассыпался в грубых похвалах ее красоте, и девочка неловко улыбнулась.

Когда оба они были раздеты, мужчина подвел ее к лежанке, поставил на четвереньки и пристроился сзади. Девочка знала, что нужно выгнуться и раздвинуть ноги. Висевшее на стене зеркало в изящной медной раме отразило испуганную девчушку и нависшего над ней огромного мужчину. Необула чувствовала, как он увлажняет ее теплым жиром, а потом внезапно ощутила острую боль, но не там, где она ожидала, а между ягодиц. Боль усиливалась, пока не стала вовсе непереносимой. Мужчина крепко держал Необулу за бедра, прижимал к себе, не отпускал, пока она не упала на живот, прижавшись щекой к подушке. Он разрывал ей нутро, лежанка скрипела, кости девушки хрустели. А мужчина старался проникнуть в нее глубже, до самого конца, вонзая ногти ей в спину. Необула дрожала, вцепившись руками в покрывало, обессиленная, растоптанная. Все происходящее казалось ей мучительно долгой агонией.

Наконец мужчина оторвался от нее с глухим стоном. От боли Необула едва могла двигаться, но мучитель уже схватил ее за плечи, приподнял и развернул к себе. Ухватив девочку за волосы, он ткнул свой член, покрытый кровью и нечистотами, прямо ей в губы и грубо приказал:

— Открывай рот, слышишь, ты!

Зажмурившись, Необула взяла в рот горячий пенис, ощущая вкус крови и мужского семени.

«Любви без боли не бывает».

Мужчина протолкнул свой член поглубже в ее воспаленную глотку:

— Теперь ты настоящая шлюха.

Потом он ушел, а опозоренная Необула, рыдая, рухнула на ложе; уж лучше бы ее изнасиловали — тогда она, по крайней мере, утешалась бы тем, что все случилось против ее воли.

Она не умерла, а значит, нужно было как-то жить дальше. Необуле не с кем было поделиться своим несчастьем — ни подруг, ни родных у нее не было. Девушка нашла утешение в собственной гордости, гордость стала ее эгидой[[5]](#footnote-5), наполнила ее невиданной силой.

Хоть и говорят, что невинности нельзя лишиться за один раз, однако Необула отбросила свою девичью честь, словно ненужную вещь.

Она спешила поскорее расстаться с собственным детством: пусть никто больше не сможет обмануть ее, одолеть и унизить.

С годами Необула превратилась в жестокого, ненасытного зверя, а из собственного тела сделала орудие мести всему мужскому роду. «Милезия» была ее логовом, ее школой похоти, притворства и зла. Девушка отвергала любое чувство, кроме жажды мести, загоняла вглубь любое желание, исходящее не от плоти. Ни один мужчина не знал от нее пощады: для гетеры не было большего наслаждения, чем властвовать над ними. Унижать их. Обирать. Губить. Жалить, словно змея. Хищница, красивая и опасная.

В тот день Необула усвоила три главных правила. Первое: в этой жизни лучше владеть, чем подчиняться. Второе: ягодицы — самая соблазнительная часть ее тела. И третье: принимать посетителей лучше на голодный желудок.

Мужчину, который надругался над Необулой, звали Анит, сын Антемиона[[6]](#footnote-6). Восемнадцать лет спустя он умер в том же доме свиданий. Его нашли на рассвете с кинжалом в сердце.

### ГЛАВА II

Необула поступила в «Милезию», как раз когда знаменитый дом свиданий переживал свой расцвет. Он был символом Афин, неотъемлемой частью их великолепной жизни, такой же, как философия или поэзия. Слава «Милезии» давно преодолела городские стены, и знатные чужеземцы стекались к афинским холмам лишь для того, чтобы полюбоваться красотой тамошних гетер.

В те времена любой моряк мог отдохнуть от тягот морского пути, не покидая пирейского порта: за один обол[[7]](#footnote-7) можно было найти ночлег, а двух хватало, чтобы познать нехитрые ласки рабыни. В Афинах говорили, что сам Улисс, превозмогший чары Цирцеи и спасшийся из плена Навзикаи, не сумел бы подобру-поздорову выбраться из пирейского притона: местные красотки болели всеми дурными хворями, которые можно было подцепить от Карфагена до Херсонеса.

Те странники, что обладали более изысканным вкусом и заботились о собственном здоровье, не задерживались в Пирее, а шли вдоль Длинной Стены до городских ворот, и дальше, в квартал Горшечников, где не было недостатка в добром вине и красивых шлюхах, готовых развлечь отважного морехода. Всего за пятнадцать оболов можно было отыскать подружку на одну ночь, чистенькую, надушенную и искусную в любви. Однако знатные путешественники неизменно направлялись в «Милезию» — дом разврата с самой лучшей репутацией во всей Элладе.

«Милезия» располагалась на склоне Холма Нимф, неподалеку от Ареопага[[8]](#footnote-8). Аспазия открыла школу гетер в девятнадцать лет. Во всей Элладе было лишь одно подобное заведение, которое основала на острове Лесбос великая Сапфо[[9]](#footnote-9). Еще девочкой Аспазия училась в ней музыке, стихосложению и искусству любви. Именно тогда у нее появилась дерзкая мечта: помочь женщинам освободиться от власти мужчин.

В шестнадцать лет Аспазия поселилась в Афинах вместе со старшей сестрой и деверем, которому было позволено вернуться в город после долгого изгнания. Девушка была необыкновенно красива, но на восточный, ионийский лад: смуглая кожа, высокие скулы, черные глаза, кошачья грация. Женщины Ионии не уступали мужчинам в уме и храбрости. Эти качества пригодились Аспазии, когда она решила посвятить себя ремеслу гетеры. Спокойный нрав, решимость и взвешенные речи этой женщины вызывали у многих мужчин не только интерес, но и глубокое уважение.

Аспазия не искала ни мужа, ни любовника. Она рано повзрослела и познала все тайны чувственной любви. Что же касается любви другой, той, что приводит к подлинному родству душ, то она не входила в планы гетеры. Отец Аспазии хотел, чтобы его дочь получила образование, и девушка прилежно училась. Она прекрасно музицировала и могла с одинаковой грацией исполнить и ритуальный танец, и веселую праздничную пляску. Конечно, ремесло гетеры было не самым почтенным, но что поделать. Гетеры были независимы и имели доступ в мир искусства и философии, закрытый для других женщин.

Три года Аспазия развлекала богатых афинян, танцевала на пирах и обучала неопытных куртизанок. Она была женщиной в полном смысле слова — женщиной, рожденной дарить радость мужчинам, а что, кроме наслаждения, может дать своему спутнику женщина, которая не желает создавать семью? Аспазия из Милета считала ремесло гетеры достойным и выгодным и не видела в нем ничего дурного. Тем больнее было сознавать, что для других она остается низшим, презренным существом. Аспазия могла бы говорить на равных с любым из афинских мудрецов, но никто из них не спешил предоставить ей такую возможность.

Мужчины принимали интерес Аспазии к искусству и философии за уловки искусной гетеры, обученной в Ионии. Оттого в первое время милетская красавица зависела от своих спутников куда сильнее, чем хотела бы. Девушке то и дело приходилось смирять свою гордость, но решимость стать свободной только крепла.

Вскоре у Аспазии появился могущественный покровитель. Им стал знатный горожанин по имени Конн, шестидесятилетний вдовец, любитель вина и хорошеньких женщин, прожигатель жизни и владелец огромного состояния. Конн любил принимать у себя знаменитых философов — афинян и чужестранцев, — стараясь снискать славу утонченного и слегка эксцентричного аристократа. На таких собраниях Аспазия из Милета была не только виночерпием; природа не слишком щедро наделила Конна талантами, и он считал, что обладание прекрасной и умной женщиной возвышает его самого. Богач охотно хвастал перед гостями ионийской диковиной, надеясь произвести впечатление на изысканную публику. Каждое острое словечко, вовремя сказанное Аспази-ей, возвышало ее любовника в глазах гостей. Сам Конн больше отмалчивался, жадно слушая рассказы иноземцев о жизни в других городах Пелопоннеса.

Как-то раз среди гостей Конна оказался прославленный софист, первый мудрец Эллады Протагор из Абдеры[[10]](#footnote-10). Философа сопровождал ученик, Продик[[11]](#footnote-11) Кеосский, стройный красавец одних лет с Аспазией. Юноша весь вечер не спускал с гетеры глаз, и, когда взгляды молодых людей встречались, оба краснели от смущения. Отведав анчоусов и устриц, гости повели беседу о политике, а точнее — об успехах Перикла, нового лидера демократического крыла. Начал разговор Анит. От него не отставал молодой удачливый комедиограф по имени Аристофан[[12]](#footnote-12).

Продик Кеосский навсегда запомнил тот спор о демократии: распаленные гости на чем свет стоит кляли Перикла, и лишь Протагор видел в нем блестящего оратора и мудрого политика, а демократию признавал самой совершенной формой правления, без неравенства и притеснений.

Тут в разговор вступил Аристофан:

— Друзья мои, кое-кто из вас издалека, и наши порядки для него в диковинку. — Он обернулся к Протагору. — Вы глядите, как мы трясем бородами над урнами, и говорите себе: сколь же счастливы афинские граждане, которые сами решают свою судьбу и не чувствуют над собой меча тирании. Можно подумать, что афиняне все как один искушены в политике, а мы, по правде сказать, и сами не понимаем, за что голосуем. У нас выборы так часто, что все давно запутались. Все голосуют, а сами думают: кобыла-то моя вот-вот ожеребится, или: и с чего соседские куры лучше несутся.

— Вот именно, — глубокомысленно заметил Конн.

— Никак не пойму, — проговорил Анит, — отчего все считают Перикла большим мудрецом. Умный правитель ни за что не доверил бы народу принимать важные решения. Ведь это просто опасно — делиться властью.

— Но в этом и состоит главный принцип демократии, — возразил Протагор. — Всеобщие выборы — основа равенства и согласия. Нельзя править народом, не советуясь с ним.

— Народ в большинстве своем дик и глуп, — проворчал хозяин дома, — и сам не понимает, что для него лучше.

— В таком случае, — не растерялся Протагор, — следует установить разумные границы народного представительства, раз и навсегда решить, в каких случаях правители должны спрашивать мнение народа. Идти на поводу у черни не менее опасно, чем вовсе игнорировать ее.

Остальные гости приняли сторону Конна: пора отказаться от иноземных выдумок и передать власть в железные руки настоящего правителя. Но как выбрать самого достойного? Большинство полагало, что власть можно доверить лишь самым богатым и влиятельным гражданам, аристократам. На это Протагор возражал, что никакой аристократии не существует, а в правителе стоит ценить мудрость и великодушие.

Конн, в свою очередь, развил тезис о том, что хороший правитель должен взять на себя заботу о народе, ибо народ по сути своей глуп и подл и живет ради удовлетворения самых низменных интересов. Все поспешили согласиться с ним.

— Но ведь Перикл как раз так и поступает, — настаивал Протагор. — Город и вправду изменился. Я бывал здесь раньше и твердо могу сказать: Афины расцвели. Неужто вы сами не видите?

— Да, теперь у нас больше статуй, — заметил Аристофан. — В Акрополе построили великолепный храм. Кучу денег потратили, кстати. Теперь в Атенее можно полюбоваться на голых женщин. Надо отдать должное искусству Фидия[[13]](#footnote-13).

— Это благодаря демократии ты можешь писать свои комедии, — заметил Протагор. — И только благодаря демократии мы собрались здесь и хулим Перикла. Демократия — это свобода и равенство.

— Как же, свобода, равенство… — скривился Конн. — Одни слова. И кстати, почему ты упорно связываешь эти понятия между собой? На самом деле они исключают друг друга. Любой свободный человек стремится выделиться. Все, что угодно, лишь бы не оказаться равным другим.

— Что ж, соблюсти равновесие и вправду нелегко, — улыбнулся Протагор. — Я привык свободно высказывать свое мнение, но вовсе не собираюсь навязывать его другим.

Продик не участвовал в беседе. Молодой человек завороженно глядел на Аспазию, но та держалась поодаль и лишь изредка приближалась к гостям, чтобы наполнить вином пустеющие кубки. И все же Продик старался не упускать нити разговора и догадывался, к чему клонят спорщики.

— Любезный Протагор, — начал Конн, — ты ведь много странствовал — скажи, неужели ты действительно полагаешь, что раб или метек[[14]](#footnote-14) ничем не отличаются от свободного человека?

— Люди равны но природе своей, неравенство рождается в дурном государстве. Но государственный строй можно изменить. Вчерашний раб порой восстает против своего господина — таково его естественное право.

Эти слова немало возмутили остальных. Анит заявил, что демократия опасна, ибо вслед за ней приходит хаос. Сам он был сторонником просвещенной олигархии. Такой строй казался ему предпочтительнее тирании, ведь при нем государство не зависело от воли одного человека. В ответ Продик рассказал забавную историю о четырех собаках, которые нашли большую кость.

— Единственное отличие демократии от тирании заключается в том, — заявил Аристофан, — что в первом случае нами помыкают, а во втором над нами насмехаются. Быть рабами или шутами — вот и вся наша свобода выбора.

— А какой строй ты сам предпочел бы? — поинтересовался Анит.

— А никакой. Меня это вообще не интересует. Я стараюсь не говорить о политике. По крайней мере, с достойными людьми.

Последовал дружный смех. Воодушевленный Аристофан продолжал:

— А почему бы нам не учредить прямо здесь, в этих гостеприимных стенах новый строй, общество равенства и справедливости; и никакой политики, согласны? Никто не командует, никто не подчиняется, все вместе принимают решения и вместе за них отвечают. Знаете, что из этого выйдет? — Он оглядел присутствующих. — В один прекрасный день нам придется устроить голосование. Будем выбирать, кто моет полы, а кто идет на рынок, кто командует, а кто подчиняется.

— Неплохая идея, — ухмыльнулся Конн. — Интересно, какие вопросы придется выносить на голосование.

— Если все пойдет как задумано, — ответил Аристофан, — нам рано или поздно придется решать, пойти ли войной на соседей.

— Что ж, я проголосовал бы за, — заявил Анит.

— Придется решать, — продолжал Аристофан, — впустить ли в наше маленькое государство чужеземцев или купить новых ездовых лошадей. Кто-то предпочтет людей, кто-то лошадей. Что же делать? Позвать кентавров.

Слова комедиографа пришлись гостям по вкусу. Спор утихал, но тут раздался голос Аспазии:

— А какую роль в своем государстве вы отводите женщинам? Рожать вам детей?

Смех в тот же миг прекратился. Все взгляды обратились к куртизанке, словно она разбила дорогую амфору. Воцарилось неловкое молчание.

— Не обращайте внимания. — Конн не знал, куда деваться от стыда. — Она немного диковата, зато на редкость хороша, не правда ли?

— Что ты имела в виду? — спросил Протагор.

— Что при настоящей демократии вам придется считаться с нами, — ответила женщина.

— Что ж, придется голосовать, — игриво заметил Аристофан, стараясь разрядить атмосферу.

Никто даже не улыбнулся. Софисты завороженно смотрели на Аспазию, словно прислушиваясь к пленительной мелодии.

— А с какой стати нам с вами считаться? — проворчал задетый за живое Конн.

Аспазия ответила твердо, обращаясь к Продику:

— Потому что мы составляем половину населения. И потому, что не только мужчины способны принимать решения.

Эти слова привели философов в восторг.

— Давно я не слышал ничего подобного, — улыбнулся Продик.

— Тем более из женских уст, — добавил Протагор.

Конн не знал, что и думать. Хозяину дома льстил успех любовницы, и все же выпад Аспазии был слишком дерзким, даже оскорбительным. Он осторожно поинтересовался мнением Аристофана, и тот ответил:

— Эта удивительная девушка только что подсказала мне идею новой комедии[[15]](#footnote-15).

Комедиограф был очень серьезен, однако Конн и Анит встретили его слова дружным смехом.

### ГЛАВА III

В тот день Аспазия впервые за два года почувствовала, что ее оценили по заслугам.

Наутро после пира гетеру внезапно посетил Продик и принес ей в подарок рукопись своего учителя. Аспазия зарделась от смущения и гордости: внимание великого философа было неслыханной честью. Продик всерьез увлекся девушкой — и не только потому, что она была настоящей красавицей: ему еще не приходилось встречать женщину, способную рассуждать как настоящий софист. Юноша снова и снова возвращался мыслями к спору о равенстве. Он размышлял о несовершенстве мира, в котором правят мужчины, и о бесчисленных загадках, которые таит в себе женская душа. Продик даже пошутил, что теперь его наставнику придется брать не только учеников, но и учениц, чтобы, пока не поздно, исправить несправедливость.

Философ и гетера пробыли наедине совсем немного, но в их душах вспыхнуло пламя, которому не суждено было погаснуть никогда.

Продик рассказал Аспазии об испытании, которому Протагор подвергал своих учеников, чтобы распознать будущих софистов. Философ протягивал испытуемому кусок пергамента с надписью:

То, что написано на другой стороне, ложь.

Надпись на обратной стороне гласила:

То, что написано на другой стороне, истинная правда.

Протагору довольно было взглянуть на реакцию кандидата в софисты, чтобы понять, на что он годится.

Продик показал пергамент Аспазии. Женщина внимательно прочла обе надписи и звонко рассмеялась:

— Что за нелепость!

Продик с улыбкой заключил, что Аспазия по праву может считать себя софистом. Первой женщиной-софистом. Заветный пергамент позволял увидеть, способен ли испытуемый отличить парадоксальное суждение от обычной нелепицы.

Аспазия вспыхнула от удовольствия и одновременно ей стало неловко, словно над нею подшутили. Чтобы перевести разговор на другую тему, она спросила, есть ли у Продика собственные сочинения, как у Протагора. Молодой философ ответил, что как только он что-нибудь напишет, Аспазия будет первой читательницей.

— Тогда у тебя есть еще одна серьезная причина, чтобы писать, ведь я стану ждать твою книгу с нетерпением, — улыбнулась гетера. На этом они расстались, и Продик в тот же день отправился в Леонтин, чтобы присоединиться к учителю.

После встречи с Протагором и Продиком Аспазия еще сильнее возжаждала свободы и признания. По ночам при свете масляной лампы она тайком читала сочинения великих мудрецов из библиотеки Конна — многие были подарены авторами, например, Анаксагором[[16]](#footnote-16) и Софоклом[[17]](#footnote-17), которых женщина невероятно чтила. Аспазия впитывала мудрость сочинителей, подобно губке, наслаждаясь изощренностью их умственных построений и точностью образов. Чем больше она узнавала, тем сильнее становилась ее тяга к знаниям.

На одном из устроенных Конном пиров Аспазия познакомилась с Фидием. То был замкнутый, неразговорчивый человек, с головой погруженный в работу. Гетера преклонялась перед его талантом. Фидий был уродлив и кривоног, и все же она день и ночь мечтала о прикосновении рук, которые ваяли статуи богов. Красота Аспазии не оставила скульптора равнодушным. Он пригласил женщину в свою мастерскую у подножия Ареопага и предложил позировать обнаженной для статуи Афродиты. Пока он работал, Аспазия болтала без умолку. Она, словно дитя, восторгалась царившим в жилище творца веселым беспорядком, незаконченными скульптурами, образами богов, проступавшими из кусков мрамора, глиняными набросками. Аспазия говорила о смутных чувствах, которые рождают у нее эти статуи, об искусстве, которое наполняет ее душу сладким дурманом, но Фидий не разделял возбуждения своей подруги и ни капли не интересовался уже законченными скульптурами. Для него они оставались лишь набросками будущих творений, и он легко забывал о прежних идеях, чтобы посвятить себя новым, еще не ясным замыслам. Фидий с легким сердцем уничтожал собственные работы, даже самые удачные. Художник часто оказывался не в состоянии довести скульптуру до совершенства, вообразить конечный результат своего труда. Он не желал тратить драгоценное время на исправление старых ошибок.

Аспазию и Фидия не связывало ничего, кроме физической близости. Гетера понимала, что остается для скульптора лишь красивой женщиной, идеальной моделью и умелой любовницей. Фидий благосклонно внимал ее речам, если только они не касались его работы, но сам не пытался поддержать разговор, и женщине казалось, что он не считает ее достойной собеседницей. Аспазия обижалась, но мирилась с таким пренебрежением. В конце концов, сама близость с гением, пусть даже уродливым и угрюмым, была неслыханной привилегией. Иногда женщине казалось, что перед нею немое божество, которое обладает даром создавать истинную красоту, но не умеет говорить. И все же в один прекрасный день она взбунтовалась.

— Похоже, тебе невдомек, что я нечто большее, чем простая гетера? — спросила Аспазия.

Фидий был потрясен. Оказалось, что он терялся в присутствии своей мудрой и красноречивой подруги и боялся вставить слово, стыдясь собственного невежества.

— Однако это не мешает тебе делить со мной ложе? — настаивала гетера.

— А что мне еще остается? — ответил он очень серьезно.

Единственным недостатком Аспазии из Милета оставалось низкое происхождение. Она была одинокой женщиной восемнадцати лет, чужестранкой без роду без племени. Рассчитывать на поддержку родных не приходилось. Никто не спешил признавать гетеру-иноземку полноправной афинской гражданкой. К счастью, природа наделила Аспазию двумя качествами, без которых нельзя было прожить в городе: она умела копить деньги и ценить истинную красоту.

Оставаясь под властью Конна, женщина делала все возможное, чтобы обрести свободу, основать собственное дело и занять достойное положение в обществе. Аспазия собиралась основать школу гетер, в которой женщины могли бы постигать не только искусство любви, но и грамоту. К сожалению, столь дерзкий замысел в корне противоречил афинским традициям, и правители полиса[[18]](#footnote-18) не уставали чинить препятствия смелой чужеземке. Тогда гетера решилась написать Протагору. Не прошло и недели, как философ в сопровождении Продика прибыл в Афины, чтобы свидетельствовать в пользу Аспазии. Софисты призвали на помощь самых именитых граждан, а среди них оказались Фидий и сам Перикл. Знатная компания, к которой примкнули философы Горгий[[19]](#footnote-19) и Гиппий[[20]](#footnote-20), сумела убедить Ареопаг, что предприятие Аспазии поможет привлечь богачей из других городов и в конечном итоге послужит на благо Афин. Теперь мечты гетеры могли стать реальностью. Женщина светилась от счастья и горячо благодарила своих друзей. Она решила создать необычный дом свиданий, где посетители смогли бы наслаждаться не только красотой гетер, но и поэзией, музыкой и приятным разговором, где женщины стали бы не запуганными рабынями, а великолепными любовницами и тонкими собеседницами, превосходными танцовщицами и музыкантшами, верными подругами, способными утешить в горе, помочь добрым советом или просто подарить чудесную ночь. Она сама учила девушек истории, философии, астрологии и геометрии своего соотечественника Фалеса[[21]](#footnote-21).

Гостей у диковинного дома свиданий становилось все больше, и Аспазии даже пришлось нанять новых гетер. Многие были уроженками Милета и успели получить достойное образование в тамошних школах. Со временем «Милезия» превратилась в блестящий салон. В городе ходила поговорка: «Вершину холма венчает Акрополь, подножие украшает "Милезия"».

На то, чтобы вышколить куртизанок и придать дому свиданий неповторимый блеск, ушел не один год. В глубине души Аспазия вынашивала куда более дерзкие замыслы, чем сделаться хозяйкой знаменитого лупанария[[22]](#footnote-22): она намеревалась объявить войну гинекеям[[23]](#footnote-23), освободить женщин от рабства, принести свободу под сумрачные кровли, в холодные и темные покои, где обитали жены, матери, хранительницы очага, жалкие, безмолвные рабыни, которых унижали и мучили собственные мужья, и положить конец порядку, установленному мужчинами для мужчин. Она хотела доказать, что независимые и образованные женщины способны участвовать в жизни государства наравне со своими супругами. Двери новой школы были открыты не только для гетер, но и для всех желающих, девиц и замужних женщин, мечтавших получить верное оружие для борьбы за собственное освобождение. Так планы Аспазии воплощались в жизнь. В «Милезии» женщинам предстояло постигать тайные слабости и пороки мужчин и учиться повелевать ими.

Кроме таинств Афродиты, гетера обучала своих воспитанниц хорошим манерам, логике, риторике, стихосложению, музыке, пению и танцам, искусству макияжа. И никакого рукоделия, кроме изготовления предохраняющих средств из бычьих кишок. Аспазия принимала в свою школу свободных молодых женщин, здоровых и не изможденных тяжким трудом. Она не брала с них платы — только обещание использовать полученные знания наделе. Тонкая уловка, благодаря которой любая женщина могла заработать на жизнь без помощи мужчин.

Фидий познакомил Аспазию с Периклом, одним из влиятельных членов Ареопага. В то время скульптор работал над самым ответственным заказом в своей жизни: он воздвигал на Акрополе храм Афины, главное здание города и одновременно символ мудрости. Парфенону предстояло стать любимым детищем Перикла, достойным венцом афинских реформ, подо сих пор он оставался лишь образом, идеей без формы. Стратег[[24]](#footnote-24) поделился своей мечтой с Фидием, единственным художником, способным воплотить ее в жизнь (пусть и не слишком красноречивым). В конце концов, горячность и настойчивость Перикла сделали свое дело; день за днем он твердил угрюмому скульптору о чудесном храме, пока тот не начал считать грандиозный замысел своим.

Аспазия часто ночевала в мастерской Фидия и могла наблюдать, как политик и скульптор жарко спорят, склонившись над чертежами. Слушать их было одно удовольствие. Перикл не понимал терминов, которыми сыпал Фидий, но говорил так горячо и страстно, что гетере казалось, будто она видит удивительный храм во плоти.

Поначалу погруженный в работу Перикл словно не замечал присутствия Аспазии. Лишь через несколько недель, когда друзья поднялись на Акрополь, чтобы выбрать место для будущего здания, он внезапно проявил интерес к женщине, в которой прежде видел лишь любовницу скульптора.

— Кто такая? — спросил он осторожно.

— Ответить на этот вопрос будет потруднее, чем разъяснить тебе замысел моего Парфенона. Откровенно говоря, я и сам ее не понимаю.

Того, что последовало за этим разговором, Аспазия не могла ни предугадать, ни вообразить в самых дерзких мечтах. В то время гетера, несмотря на признание в обществе и собственное дело, мало задумывалась о будущем. Она доверяла естественному течению событий. Казалось, сама Фортуна благоволит к Аспазии, день ото дня осыпая ее своими дарами, и женщина с благодарностью принимала их. Больше всего на свете гетера дорожила завоеванной в нелегкой борьбе свободой. И все же в один прекрасный день она почувствовала, что Перикл ее любит. И впустила его в свое сердце.

### ГЛАВА IV

Софист Продик Кеосский вот уже год трудился над первой книгой, в которой намеревался изложить воззрения своего учителя Протагора Абдерского. Двадцатилетний Продик уже закончил обучение, и книга должна была стать даром ученика, выражением глубокой признательности наставнику. Протагор дал своему лучшему ученику все, что может дать хороший учитель, кроме одного: способности учить самому. Несмотря на долгие годы, проведенные рядом с философом, Продик не унаследовал от него особой душевной силы, что помогает завладеть всем существом другого человека и сообщить ему собственный образ мыслей. Протагор не раз с горечью замечал, что его ученик, воспринимающий несовершенство мира с трагической остротой, не способен открыто противостоять злу. В отличие от философа из Абдеры, взиравшего на окружающую жизнь невозмутимо, с печальным скептицизмом, Продик обладал душой беспокойной, но слабой.

Даже во время добровольного заключения на острове, погруженный в работу над книгой, Продик ни на минуту не забывал об обещании подарить рукопись одной удивительной девушке. Боролся он с апатией и унынием или настойчиво продирался сквозь словесный лабиринт, в темных глубинах его сознания продолжало гореть зажженное в Афинах пламя. Если в мире и существовала женщина, достойная столь тяжкого труда и беззаветных усилий, то лишь она. И Продик больше всего на свете боялся разочаровать Аспазию, хоть и думал порой, что сама она давно о нем позабыла. Что ж, если так, больше писать книг он не станет.

Впрочем, едва труд был закончен, философ стал сомневаться, стоит ли вообще отправлять Аспазии рукопись. Сам Продик был не слишком доволен своей работой, ему казалось, что конечный результат слишком отличается от первоначального замысла. Софист боялся разочаровать друга. Он вновь и вновь правил книгу и находил в ней все новые изъяны. Кроме того, со дня рокового обещания прошло слишком много лет. Продик все еще пребывал в сомнениях, когда до него дошли слухи о том, что юная красавица, развлекавшая гостей на пирах у Конна, стала женой самого могущественного человека в Афинах. Эта новость привела философа в смятение. Сладостные мечты, головокружительные планы, тайные желания — все рухнуло в один миг. Продик твердо решил не отправлять Аспазии книгу и ничего больше не писать.

Как же корил он себя за то, что не разобрался вовремя в собственных чувствах и, вместо того чтобы бороться за свою любовь, предпочел запереться на Кеосе и корпеть над книгой.

Женитьба Перикла на женщине с дурной репутацией едва не пошатнула устои афинского полиса. Что и говорить, Аспазию никак нельзя было назвать примерной супруге: ". Перикл обожал свою жену и потакал всем ее прихотям. Аспазия принимала у себя самых образованных и знаменитых афинян, наносила визиты, кому хотела, прогуливалась по городу в сопровождении рабынь и наслаждалась неслыханной в те времена свободой. Она посещала чисто мужские сборища и предавалась запретным для других женщин занятиям. Перикл относился к жене как к равной, потому что она сама держалась на равных с ним. Супруги нередко целовались на публике. Ревнителей нравственности подобная вольность приводила в ужас.

В городе нашлись и те, кто считал, что Перикл обезумел, презрел обычаи предков. Враги стратега не преминули заявить, что его связь с «ионийской распутницей» ставит под угрозу само существование демократии. Они утверждали, будто коварная куртизанка дурно влияет на Перикла и вынуждает его развязать опасную для города войну с Лакедемоном[[25]](#footnote-25).

Аспазию объявили ловкой интриганкой, помешанной на плотских утехах. Перикла называли слабовольным распутником, порабощенным публичной девкой. Мерзкие слухи в один миг облетели Афины, поэты не скупились на полные яда инвективы, а уличные актеры представляли стратега в виде паяца, которого таскает за огромный член когтистая женская рука. Зрелище, само собой, сопровождалось все теми же скабрезными виршами:

Наш Перикл спутался со шлюхой,

преуспевшей в Цирцеиной науке,

растерял мозги в ее постели,

и сам в ионийца превратился.

У подобной травли была вполне ясная цель: уничтожить стратега. Однако свалить великого оратора и народного любимца оказалось не так-то просто. Но чтобы погубить женщину, хватило бы и сплетни. А кто решился бы вступиться за честь Аспазии, рискуя всем? Разумеется, Перикл.

Аспазию обвиняли в непочтении к богам и дурном влиянии на мужа, а Перикла — в распутстве и пренебрежении афинскими обычаями. Сначала афиняне не верили скверным слухам, но голоса недругов стратега звучали все громче, роняя в сердца горожан зерна сомнения в честности правителя и справедливости его правления.

Враги Перикла не прогадали. В конце концов стратег предстал перед судом. Истцами выступили одни из главных его противников — сочинители комических стихов Гермип[[26]](#footnote-26) и Эстемпсихор. Перикл не собирался подыгрывать своим врагам: вместо того чтобы защищать доброе имя жены, он заявил, что подобное разбирательство представляет опасность для демократии как таковой, обвинители пытаются подорвать доверие народа к правителю и государству, но, не в силах предоставить весомые доказательства, пускают в дело сплетни и гадкие стишки, выставляя самих себя на посмешище. В подтверждение своих слов он при всех прочел несколько особенно грязных строф, после которых никто уже не заподозрил бы его обвинителей в излишней заботе о нравственности. Чтение стихов произвело на публику ошеломляющее впечатление: недаром Перикл отбирал и заучивал самые цветистые строки. Накануне верный соратник стратега тайком передал ему непристойные рукописи. Декламировал Перикл великолепно, без единого оттенка фальши. Ему удалось вернуть расположение афинян с помощью старого, проверенного средства: хлесткой насмешки. Гермипу и Эстемпсихору прежде и не снился такой успех: каждую строчку толпа встречала оглушительным хохотом. То, безусловно, был их звездный час. С Аспазии сняли все обвинения, а власть Перикла только окрепла.

### ГЛАВА V

УЖЕ который год тянулась жестокая, кровопролитная война. Тяжкие напасти поражали Афины одна за другой. Крысы разносили чуму, чума привлекала крыс. Мириады грызунов метались от селения к селению, атаковали амбары, спасались из горящих хижин, прогрызали дыры в городских стенах, шныряли по улицам, рылись в кучах мусора, сверкали глазами из темных углов, прятались в подвалах и винных погребах, забивались под ложа больных в пропахших потом и гноем комнатах, карабкались на потолочные балки и всюду сеяли заразу. Смерть поджидала людей и на полях сражений, и в родном доме. На пожарищах хозяйничали мародеры. Морская торговля пришла в упадок, и казалось, город вот-вот рухнет, не устояв перед новым бедствием.

Обескровленным бесконечной войной Афинам все труднее было сдерживать натиск спартанцев и разоблачать козни внутренних врагов. Народ хотел знать, кто виноват в его несчастьях. Когда Перикл, прославленный стратег и всеобщий любимец, умер от чумы, проводить его собрались сотни людей: друзья, родичи из клана Алкмеонидов[[27]](#footnote-27), товарищи по демократическому крылу, члены Ареопага, все, кто знал политика и трудился на благо города бок о бок с ним. Пришли и стратеги, и архонты[[28]](#footnote-28), и представители городского совета. К несчастью, память и благодарность народа недолговечны. Вскоре по Афинам поползли слухи, что это Перикл прогневал своей гордыней Зевса, владыку бурь, ненастий и мора. Прежде стратег слыл великим оратором и дерзновенным политиком; теперь его речи многим казались безумием, а дела — кощунством.

Аспазия осталась совсем одна.

Новые заботы помогли Продику превозмочь душевную боль. Софиста назначили кеосским посланником как раз в тот момент, когда кровопролитная война превратила Эгейское море в кипящий котел. Крошечный островок Кикладского архипелага, в гавань которого не часто заходили большие суда, внезапно оказался в самом пекле великого противостояния. Чрезвычайно выгодное расположение делало Кеос лакомым кусочком для сцепившихся за торговые пути держав, а принадлежность к Делосской лиге[[29]](#footnote-29) и союз с Афинами не позволяли ему остаться в стороне. Маленький кусочек суши посреди свирепого моря мужественно противостоял напастям, подобно скалам Харибды, о которые разбивались высокие волны.

Оказалось, что политика — лучшее лекарство от любовной тоски. Не успел Продик окунуться в упоительный мир дипломатических склок, как боль его начала утихать. Лучший ученик Протагора использовал все свое красноречие, чтобы защитить интересы Кеоса. По Афинам Продик скучал, но побывать там не решался, опасаясь чумы.

Весть о смерти Перикла пробудила в сердце софиста давно позабытую тоску. Он понимал, какая страшная утрата постигла Аспазию: она лишилась верного друга, поддержки, надежды на будущее. Продик решил, что настало время навестить возлюбленную, утешить ее в страшном горе и выполнить обещание, данное много лет назад.

Знаменитая вилла Аспазии, построенная милетским зодчим Гипподамом[[30]](#footnote-30), располагалась к востоку от Панафейской дороги[[31]](#footnote-31), неподалеку от агоры[[32]](#footnote-32). Окна виллы выходили в обширный тенистый сад, где размещались колодец, конюшни и помещения для рабов. Архитектор создал хитроумную конструкцию из трех зданий разной высоты, соединенных крытыми галереями. Во внутренних покоях, отделанных мрамором, царили покой и прохлада. Окна покрывали тончайшие слюдяные пластины, и проникавшие сквозь них лучи солнца наполняли комнаты нежно-розовым светом. В боковых крыльях виллы располагались два огромных пиршественных зала, украшенных ионийскими колоннами и дорогими коврами.

Аспазия из Милета так обрадовалась старому другу, что невольно пробудила в софисте давно угасшие надежды. Оказалось, что все эти годы она с нетерпением ждала его книгу. Возраст и тяжкая утрата придали Аспазии особую красоту, утонченную и печальную. Храбрая одинокая женщина из последних сил противостояла бесчисленным несчастьям. Продик вернул ей давно забытую радость.

Продик из Кеоса собирался провести на гостеприимной вилле один день, но в результате остался на всю зиму. Его затянуло, словно в водоворот. Софиста всегда восхищали люди, не привыкшие отступать в борьбе за самые дерзкие мечты.

За стенами виллы продолжала свирепствовать чума, безжалостно разя людей своими невидимыми стрелами. Домашний лекарь Аспазии распорядился каждый день драить весь дом горячей водой, чтобы прогнать заразу; ковры и занавеси сожгли, лошадей принесли в жертву, стены тщательно вымыли и выскребли, рабов заставили ходить на рынок в холщовых повязках, а по возвращении держали их несколько дней взаперти, в специально отведенной комнате. Между тем, на улицах поселился страх, люди старались пореже покидать свои дома, но зараза продолжала собирать трофеи. Многие предпочли смерть в бою и поспешили отправиться на войну со Спартой. И все же щедрые жертвоприношения, в конце концов, остудили гнев богов, и мор пошел на спад, хотя никто не поручился бы, что через пару месяцев эпидемия не вспыхнет с новой силой.

Чувства, которые Аспазия питала к своему гостю, совсем не походили на привычное любовное томление. Юность безвозвратно ушла: обоим сравнялось тридцать шесть лет. Теперь Аспазия стремилась к единству душ, не оскверненному влечением плоти. Она любила Продика, но по-своему, не так, как других мужчин. Друзья никогда не говорили о будущем. Софист не признавался Аспазии в любви, не пытался остаться с ней наедине, не входил к женщине, если знал, что она переодевается или принимает ванну; его выдавал только взгляд, полный любви и муки. Но его возлюбленная слишком сильно тосковала по Периклу, слишком остро переживала обиды, чтобы заметить страдания Продика.

В обещанной Продиком книге говорилось о воззрениях Протагора на природу релятивизма. Софист полагал, что в мире нет и не может быть абсолютной истины: слова размывают действительность, как вода глину.

Прочитав книгу, Аспазия засыпала друга восторгами и весьма меткими замечаниями. Их долгие беседы и жаркие споры вдохновили Продика вновь засесть за работу и создать к весне новое произведение в особом, неповторимом стиле, по форме — свободные рассуждения, а по содержанию — апологию релятивизма. Теперь Продик не подражал Протагору, но отдавал должное великому учителю.

Каждый вечер, после ужина, в пиршественном зале разгорался настоящий философский диспут. Аспазия приглашала прославленных афинских мыслителей (из тех, кто не боялся скомпрометировать себя дружбой с женщиной такого рода), и благодаря ей Продик сблизился с Аристофаном, Еврипидом[[33]](#footnote-33), Сократом[[34]](#footnote-34) и софистом Горгием. Гости вели долгие, увлекательные беседы, а порой и спорили до хрипоты. Еврипид и Аристофан вечно ссорились и подначивали друг друга; один с грубоватой прямотой, другой с неизменным изяществом и изрядной долей яда; Демосфен[[35]](#footnote-35) с рассеянным видом произносил блестящие речи; Горгий хохотал не переставая и ловил собеседников на слове быстрее, чем кот ловит мышь; Аспазия направляла течение разговора, изредка уступая это право Демосфену, а Сократ ставил спорщиков в тупик внезапными каверзными вопросами.

Сократ был, несомненно, самым удивительным человеком из всех, кого Продику приходилось встречать. Невозможно было понять, участвует философ в общем разговоре или произносит свои странные речи в пространство, ни к кому не обращаясь. Продик никогда не уставал следить за причудливыми поворотами его мысли. Сократ имел обыкновение рассеянно поглядывать на гостей, усмехаясь про себя. Сам он никогда не шутил, не улыбался шуткам Аристофана и остальных. Можно было подумать, что философ дал зарок во что бы то ни стало оставаться серьезным. Участие Сократа в общем разговоре сводилось к бесконечным вопросам. В этом, должно быть, и заключался секрет его невиданного обаяния. Философ с неизменным вниманием прислушивался к чужим словам, хотя в действительности не слишком их ценил.

Поначалу метод философа увлек Продика: ему нравились манера Сократа выводить суждения из диалогов и стремление к простоте и ясности любого высказывания. Однако причудливая логика философа очень быстро разочаровала сбитого с толку софиста. Афинянин приводил бессчетное количество весьма туманных — если не сказать, нелепых — примеров, смысл которых был ясен ему одному. Разобраться в умственных построениях Сократа мог только сам Сократ.

Продик счел бы за честь сблизиться с великим философом и другом Аспазии, даже столь дурно воспитанным. И гости, и хозяйка радовались приходу Сократа. Его слова, таинственные и причудливые, завораживали. Философ почти не участвовал в спорах и не торопился высказывать собственное мнение. Его речи были полны загадочных метафор, и он не давал себе труда объяснять их. Речи софиста вызывали у Сократа живой интерес. Продик утверждал, что смысл софистики заключается в распространении знаний, однако афинский философ решительно отказывался понимать, как можно применять слово «знание» к ораторскому или писательскому искусству, политике или истории. Сам он считал их не слишком почтительными занятиями, не имеющими ничего общего с истинной мудростью. Но пуще всего Сократа поражал обычай софистов брать со своих учеников плату: он шутил, что станет платить Продику по пятьдесят драхм[[36]](#footnote-36) за каждое сказанное им слово. Шутка вышла довольно неловкой, но гости вежливо посмеялись. Усмехнулся и Продик:

— Даже скопив тысячу драхм, я едва ли смогу научить тебя чему-нибудь полезному.

Философ принял вызов, вкрадчиво поинтересовавшись у Продика, какие знания он считает полезными. Едва софист принялся защищать ораторское искусство, Сократ назвал его обыкновенной демагогией, наукой обманывать судей; когда Продик заговорил о пользе юриспруденции, афинянин заявил, что она служит для оправдания несправедливости; стоило софисту начать расхваливать поэзию, как Сократ процитировал наизусть несколько строк весьма вульгарного свойства; а когда Продик в отчаянии, прибег к последнему аргументу, экономике, философ назвал ее помощницей плутов и мошенников. Сократ с легкостью разбил все без исключения аргументы противника, доказав, что мудрость софистов никуда не годится. Продику оставалось лишь признать себя побежденным.

— Ты не споришь, Сократ, ты дерешься. Не горячись; все равно тебя не переспорить.

— Вы, софисты, любую истину повернете на свой лад.

В тот момент Продик впервые заметил, насколько философ уродлив. Разумеется, он и раньше отлично видел, что Сократ далеко не красавец, но теперь его уродство вдруг стало пугающе очевидным: афинянин больше походил на козла, чем на человека.

Аспазия зорко следила за тем, чтобы споры в ее салоне не превращались в ссоры. Продику и Сократу приходилось сдерживать жгучую взаимную неприязнь.

Вскоре Продик не без горечи осознал, что в мире Сократа для него места не найдется. То был мир непререкаемых истин. Оба они напоминали потерпевших кораблекрушение, только софист все еще метался среди волн в надежде выбраться на твердую землю, а философ сумел взобраться на спасительный плот. Продик слишком поздно догадался, что этот плот вот-вот поглотит без возврата темная пучина.

### ГЛАВА VI

Необула, самая юная гетера «Милезии», очень быстро освоила свое ремесло. Ее страстная, импульсивная натура с лихвой восполняла отсутствие опыта. Эта хрупкая девушка, с виду нежная и стыдливая, не ласкала, а царапала длинными, острыми ногтями, не обнимала, а душила, не стонала, а рычала. Аспазия долго пыталась искоренить подобные дикости, пока не заметила, что игры необузданной львицы приводят гостей в восторг. Необула не притворялась. Она нашла способ выплеснуть ненависть ко всему мужскому роду.

Рассудок Необулы, помраченный обидой и унижением, принимал любые слова и поступки за выражение тайных постыдных желаний; девушка верила, что, лишь окунувшись в разврат, она сможет избавиться от бесплодных мечтаний юности — повстречать благородного человека, который ее полюбит, и прожить с ним счастливую, достойную жизнь, осененную узами брака. Она давно поняла, что богиня Афина хранила свою невинность вовсе не потому, что была добродетельна: страдания безнадежно влюбленных мужчин доставляли ей удовольствие, несоизмеримо большее, нежели плотские утехи. В мучениях отвергнутого любовника таилось немыслимое, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Проститутке, привыкшей отдаваться жестоким и грубым самцам, было недоступно оружие Афины, и она решила мстить за то первое насилие над собой, совращая мужчин и лишая их разума; тот, кто изведал сладкого яда на устах Необулы, навсегда становился ее рабом.

С каждым годом тело блудницы жаждало все новых, невиданных и преступных, удовольствий, а дух неуклонно погружался в пучину безумия. Необула стала посещать оргии в Пирейском порту, где предавались разврату под звуки лир, кифар[[37]](#footnote-37) и гобоев. Лучшие гетеры «Милезии» отправлялись туда, чтобы танцевать нагими и услаждать афинских богачей. Вино лилось рекой, кровь стучала в висках от жарких мелодий, обезумевшие музыканты носились вдоль Длинной Стены, словно зачарованные луной сатиры. В одну из таких ночей Необулу посвятили в жрицы Элевсинских мистерий[[38]](#footnote-38). Девушка легко прошла обряд и вскоре познала священное забытье на залитой кровью площадке храма в зарослях можжевельника. Там она изгибалась в неистовой пляске, пока не падала на землю, обессиленная, ослепленная звездным светом. Тогда возбуждение Необулы обращалось в экстаз. В трансе она вместе с другими жрицами спускалась в Аид и разговаривала с мертвецами.

Следующей ступенью, ведущей во тьму, было посвящение в культ Диониса. Несколько лет Необула пыталась нащупать границы жизни и смерти, предаваясь нескончаемым кровавым оргиям. Она видела, как людьми овладевает страшный дух безумия, лишая их сознания и воли. Ее подруги постепенно отдалялись от мира, погружаясь в вечную волчью ночь. Обычно менады[[39]](#footnote-39) доживали свой короткий век, скитаясь без цели, не в силах вернуться к прежней жизни. Печальная участь товарок заставила Необулу одуматься. Пригубив запретного зелья и заглянув в глаза ужасу, она сумела остановиться на самом краю и вернуться в мир живых людей. И все же, удержавшись от рокового шага в бездну, гетера чувствовала, что жизнь, в которой осталось так много неизведанного, еще не раз удивит ее.

Как-то раз, в мастерской Фидия, Необула обратила внимание на удивительно красивую скульптуру. Сначала гетера приняла стройного юношу с точеным лицом, от которого, казалось, исходил божественный свет, за самого Аполлона. Приглядевшись, она поняла, что ошиблась: не могло быть у бога такой жестокой усмешки, такого страстного и глумливого выражения. Художнику, вне всякого сомнения, позировал человек. Ученик Фидия подтвердил догадку гетеры. Мастер создал эту скульптуру десять лет назад, в той же самой мастерской, и моделью для нее стал смертный юноша.

— Но разве смертный может быть так прекрасен? — воскликнула Необула. — Неужели Фидий ни капельки не приукрасил его?

— Те, кто видел оригинал, говорят, что сходство удивительное, — заверил скульптор.

— А кто он?

— Алкивиад[[40]](#footnote-40) из рода Алкмеонидов, племянник Перикла.

— Он жив?

— Разумеется. Сейчас он героически сражается со спартанцами.

— А где его можно найти?

— Он в нашем войске, где-то возле Самоса, на кораблях.

###### \* \* \*

Алкивиад и Необула больше не расставались. Флот Алкмеонида неистово громил спартанцев. Каждый сожженный корабль лишь сильнее разжигал ярость полководца. Он преследовал врагов на земле и на море, до самых границ Эллады.

Душа Алкивиада металась между нежностью к возлюбленной и неистовством битвы. Сколько раз Необула провожала на встречу с врагом корабли под черными парусами. Как жаждала она оказаться на борту одного из них, рядом с любимым.

Алкивиад не признавал иной музыки, кроме плеска весел в открытом море, когда корабль летит навстречу противнику; его слух услаждали только звон металла, стук мечей о щиты да звон тетивы боевых луков, посылавших в небо мириады стрел; сулящий победу попутный ветер раздувал пламя в душе полководца, кровь врагов была для него слаще вина, крики сброшенных за борт неприятелей заставляли его сердце биться сильнее, он привык слышать, как дрожит земля под колесами боевых колесниц, и вдыхать полной грудью дым горящих городов. Не было для него картины прекраснее, нежели строй кораблей перед атакой, не было прекраснее образа, чем стройная тень лучника, готового пустить стрелу. Рука Алкмеонида была создана для того, чтобы сжимать окровавленный меч; его крепкие, неутомимые ноги как нельзя лучше годились для долгих переходов или неистовой гонки на боевом скакуне. Необулу сводил с ума звучный голос возлюбленного, пропитанный солью и ветром. Алкмеонид был такой живой и настоящий, как ни один мужчина из тех, кого она знала раньше. Неутомимый, ненасытный, Алкивиад жил так, чтобы не потратить зря ни единого мгновения своей жизни; он привык выпивать каждый день до последней капли света, его силы и страсти хватило бы, чтобы разжечь пламя в душе самого слабого и нерешительного человека. Вместе с возлюбленной он летал по волнам Эгейского моря, от берега до берега, и повсюду сеял смерть.

Для Алкивиада Необула оставалась неразрешимой загадкой, вроде таинственного сфинкса, странным, непостижимым существом, лишь наполовину человеком, а наполовину диким зверем, опасной хищницей с мягкими лапами, тихим голосом и смертельной хваткой. Их любовь слишком сильно напоминала битву.

Три года она делила с ним кошмарный быт военных лагерей, где у самых шатров выли бродячие псы, а вороны терзали свежие трупы спартанцев и афинян, безудержный разгул победителей в захваченных городах и тяготы конных походов. И всюду перед Необулой представала одна и та же картина: там, где еще совсем недавно бурлила и цвела жизнь, оставались лишь облака пепла на ветру; люди хоронили своих мертвых, плакали на могилах, а потом снова бросались в бой, повинуясь древней жажде крови, вечной спутнице человека. Необула лечила раны возлюбленного поцелуями и целебной смолой и преданно охраняла его краткий сон. Беспокойство — главный закон жизни, любил повторять Алкивиад. Разве море бывает совершенно спокойным? Виданное ли дело, чтобы звери не боялись ни охотников, ни голода? Борьба за выживание оттачивает разум, обостряет чувства и помогает людям идти вперед, оставляя на обочине слабаков; не только смертные, но и сами олимпийские боги соперничают друг с другом. Демократия — грандиозный самообман, который вот-вот рассеется. Никто не хочет быть рабом и гнуть спину на другого, но разделение на рабов и господ обусловлено самой природой человека, оно не исчезнет, даже если рабство в один прекрасный день отменят. Общество, в котором все равны и происхождением, и богатством, и талантами, так же реально, как мирная жизнь без войн и лишений, а потому никакому городу не помешают хорошо вооруженные армия и флот. В душах у нас от рождения горит дивное пламя, которое заставляет нас идти вперед и жаждать новых побед. Рано или поздно на нашем пути встают непреодолимые преграды, и тогда каждый выбирает, сдаться или довериться судьбе и смело броситься на препятствие. Я хорошо снарядил свои корабли, я выбрал ладный щит, который укроет меня в бою, у меня есть меткое копье и острый меч, я сплю очень чутко и не доверяю даже собственной матери. Я до сих пор жив, несмотря на козни врагов, потому что бегу из края, где зреет предательство, вечно бегу, словно блуждающая звезда. Нет у меня господ, никто надо мною не властен.

### ГЛАВА VII

Необула встретила двадцать вторую весну вдали от родины, вместе с Алкивиадом. Война затягивалась, и Афины предпринимали отчаянные попытки возродить свой флот, изрядно потрепанный в бесконечных битвах. Однако задача казалась непосильной: главный источник афинского богатства — Декелейские шахты[[41]](#footnote-41) — оказались в руках врага, вместе с самыми богатыми островами; город потерял тысячи людей и большую часть кораблей. Надежды почти не осталось. Став стратегом, Алкивиад сумел поддержать боевой дух усталого войска и одержал несколько важных побед, внушив афинянам слабую веру в благополучный исход. На свою беду полководец совершил непоправимую ошибку: непомерно самолюбивый и гордый, он предпочел прослыть предателем, но не подчиниться приказам другого военачальника[[42]](#footnote-42). Так Алкмеонид стал врагом Афин. Соотечественники разочаровались в нем навсегда.

Жизнь Алкивиада клонилась к закату. Стратег не желал возвращаться в свое отечество униженным и сломленным. Оставалось только бежать и скрываться. Алкмеонид вместе с Необулой и горсткой верных рабов отправился в приграничную Фракию, где среди скал одиноко высилась Херсонесская крепость.

Оказавшись вдали от боевых действий, Алкивиад сделался совершенно невыносим. Он возненавидел весь мир и самого себя в придачу. Бывший стратег почти перестал видеться с людьми. Ничто, кроме войны, его не интересовало.

Алкивиаду было сорок шесть лет, и он чувствовал себя глубоким стариком. Он был разбит, побежден. В один прекрасный день Алкмеонид признался Необуле, что больше ее не любит, и отослал ее обратно в Афины. Женщина поняла, что не в ее власти сделать опального полководца счастливым. Она покорилась и навсегда покинула возлюбленного.

Во время долгого пути домой, в котором ее сопровождали лишь несколько рабов, у гетеры было достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей жизни. Как ни странно, она почти не помнила детство. В памяти Необулы сохранились лишь разрозненные, туманные образы: родные голоса под крышей большого дома на склоне холма, пение птиц в запущенном саду, будившее ее по утрам, запах одеяла из козьих шкур, скорпион, выползающий из норы на прогретый солнцем песок, шепот хлебов, в которых она терялась с головой, хор цикад в честь наступления полудня; веселый танец пылинок в тонких лучах, проникающих сквозь щели в досках конюшни, зловещий хохот стервятников в ночи, когда тетка умерла от легочной болезни, обряд очищения после похорон матери. И пышный венок, который она возложила к ногам Афродиты, прежде чем сбросить тунику — последнюю, ненадежную защиту невинности — и обнаженной застыть под пронзительным взглядом Аспазии.

После смерти матери колодец, на дне которого покоилось детство Необулы, словно завалили тяжелыми камнями. Теперь на его месте осталась лишь одинокая, всеми позабытая могила, и никак не получалось вспомнить, кто она, эта девочка на дне колодца, что с ней было и что ждет ее впереди. Собственная жизнь казалась гетере далеким, туманным сном.

Возвращаясь в Афины, Необула думала и о человеке, которого навсегда оставила во Фракии, наедине со своим отчаянием. Смотреть, как любимый погружается во тьму, как угасает неистовое пламя его души, было выше ее сил. Гетера предпочла бы запомнить его в расцвете сил, в зените торжества — гордым, неистовым, бесстрашным, привыкшим пить жизнь полной чашей. Алкивиад и сам не хотел, чтобы любимая видела его слабость, потому и предпочел доживать свои дни в одиночестве.

Афины встречали гетеру невесело. Женщина провела на чужбине всего три года и не ожидала, что город изменился так сильно. Повсюду руины. Дом Необулы сгорел во время войны. У нее не осталось ни родных, ни друзей, ни возлюбленного. Оставалось лишь надеяться, что Аспазия, если она, конечно, жива, примет старую знакомую назад, в «Милезию».

Раб, открывший Необуле дверь, тотчас узнал ее и пригласил войти. Он помог гостье разуться и оставил ее дожидаться хозяйку в пропитанной запахом сандала передней. Вскоре из глубины дома послышался знакомый голос, и навстречу гетере выбежала сама Аспазия в шелковой тунике цвета лаванды. Все тревоги Необулы мгновенно улетучились. Женщины сердечно обнялись и расцеловались.

Аспазия охотно согласилась приютить Необулу, пока та не найдет себе жилье. Вопрос о возвращении в «Миле-зию» был решен в один момент: хозяйка дома свиданий была рада заполучить обратно лучшую гетеру Афин. Необула не возражала: знакомое ремесло сулило немалую выгоду. Кроме того, ей не терпелось снова испытать свою власть над мужчинами.

— Ты должна рассказать мне обо всем, что с тобой приключилось, — весело заявила Аспазия.

— А ты расскажи мне, что приключилось здесь, пока меня не было.

— С чего начать?

— С тех пор, как я покинула Афины.

— Что ж, рассказывать почти нечего. Бесконечная череда проигранных войн, хотя кое-кто считает, что это тянется все та же война, а мы все так же стараемся украсить жизнь наших мужчин.

— «Милезия», конечно, по-прежнему открыта?

— «Милезия» вечна. Правда, мне пришлось принять двух новых девушек, обе совсем молоденькие, зато неутомимые: их зовут Тимарета и Эвтила. Они будут счастливы с тобой познакомиться. Как видишь, за всем приходится следить самой, охотников взять на себя мои заботы что-то не находится. Я открыла было школу, чтобы обучать женщин грамоте, но смогла найти только одну ученицу; остальные побоялись. Ты ведь знаешь, что про нас болтают в городе; мало какой муж решится отпустить ко мне свою жену. Зато вдова Периктиона[[43]](#footnote-43) научилась читать в один момент и больше в моих уроках не нуждается. Так что теперь я занимаюсь только с новенькими гетерами.

Аспазия не стала расспрашивать подругу об Алкивиаде и ни словом не обмолвилась о собственной жизни. Владелица «Милезии» старалась соблюдать в отношениях с гетерами разумную дистанцию. Кроме того, она легко могла вообразить, каково это — быть подругой Алкивиада. За эти годы Необула стала сдержаннее, сильнее, женственнее и, определенно, соблазнительнее. В свои двадцать два года она могла бы привлечь куда больше мужчин, чем любая молоденькая девчонка. Смех Необулы журчал, словно лесной родник; она располагала всем, что уже успела утратить сама Аспазия: крепким и гибким телом, гладкой кожей, от которой исходил едва уловимый пьянящий женский запах, волнистой черной гривой, очарованием музы и цепким, живым умом.

У Необулы была привычка спать допоздна, а по вечерам выходить на прогулку, любоваться закатом и наслаждаться редкими часами свободы. Чтобы защитить себя от оскорблений и домогательств, она скрывала лицо под покрывалом и брала с собой могучего раба, бывшего камнетеса. Необула любила вечерние часы, когда все вокруг дышало умиротворенной гармонией. Во время одной из таких прогулок она забрела в богатый квартал Скамбонидаи и оказалась невольной свидетельницей семейной сцены, разразившейся во дворе богатой виллы. Ссорились отец и сын, в их голосах сквозила такая жгучая, непримиримая ненависть, что Необуле стало страшно. Воздух наполняли страшный грохот, звон битой посуды, жалобные стенания какой-то женщины, должно быть, матери семейства, отвратительная брань и леденящие душу угрозы. В конце концов, юноша с глухим рыком бросился прочь. Он не глядя проскочил мимо гетеры и, сжимая кулаки, побежал вверх по улице. На краткое время воцарилась тишина, которую нарушали только судорожные женские всхлипывания. Потом хозяин дома позвал сына, безуспешно пытаясь придать своему голосу теплоту и отеческую нежность. Юноша давно скрылся, но отец продолжал выкрикивать его имя, уже не скрывая гнева. В свете луны Необула прекрасно разглядела его лицо. Это был Анит — тот, кто десять лет назад, в «Милезии», лишил ее невинности, унизил и осквернил.

Необула и сопровождавший ее раб двинулись вслед за молодым человеком и вскоре оказались в квартале победнее. Гетера едва ли смогла бы объяснить, зачем ей понадобилось преследовать юношу; она действовала, подчиняясь внезапному порыву. Женщину заинтриговали гнев незнакомца, его страстная, мятежная натура, отчаяние, с которым он выкрикивал оскорбления и обещал то убить отца, то навсегда сбежать из дома. Слежка привела гетеру в тесный и дымный кабак, где подавали вино с пряностями; судя по приветствиям, которыми разразились завсегдатаи таверны при виде юноши, он бывал здесь и раньше. Необула предпочла не входить в кабак и отправила к юноше раба. Получив неожиданное приглашение, молодой человек обернулся к дверям и увидел на пороге силуэт закутанной в покрывало женщины. Он одним глотком допил вино, поднялся на ноги, расплатился и вышел.

Необула шагнула навстречу юноше, откинув покрывало. Некоторое время молодые люди пытливо рассматривали друг друга, и каждый читал в глазах другого неподдельный интерес. По расчетам гетеры, юнцу было лет семнадцать, не больше, он обладал непокорным и вспыльчивым нравом и, надо полагать, совершенно не имел опыта по части общения с женщинами. Переждав немного, Необула поманила юношу за собой. Они двинулись по улице рука об руку; раб предусмотрительно держался поодаль.

— Ты ведь гетера? — Необула кивнула. — Я так и знал, — заключил юноша с какой-то ребяческой серьезностью. — Ты слишком красивая и слишком храбрая.

— Ты разочарован?

— Вовсе нет. Я ни разу не бывал в публичном доме, но теперь непременно загляну. Ты ищешь мужчин?

Он цедил слова с показной надменностью, стараясь выглядеть взрослым мужчиной.

— Ну да, — солгала Необула. — Молодых и красивых, вроде тебя. Кстати, как тебя зовут?

— Антемион, внук Антемиона.

— Почему ты называешь имя деда, а не отца?

— Нет у меня никакого отца, — резко выпалил Антемион и торопливо добавил: — Сколько это стоит?

— Все зависит от мужчины и его желаний. — Гетера старалась держаться беззаботно и весело, чтобы не спугнуть собеседника. — С уродов я беру двойную плату.

— Правда? Но это же нечестно.

— Ты думаешь? — Она громко расхохоталась, немного напугав юношу. — Иной раз я вовсе не беру с гостей плату, чтобы они заглянули еще раз.

Антемион пожирал девушку глазами, словно пытался вообразить ее нагой. Необула усмехалась про себя, представляя, каким премудростям она могла бы обучить этого юнца всего за одну ночь.

— У тебя, наверное, нет отбоя от поклонников.

— Не жалуюсь. Работы хватает.

— Тогда зачем ты бродишь по улицам? Необула ухмыльнулась: щенок только что поймал ее на слове. Что ж, в следующий раз она будет осторожнее.

— На самом деле я просто гуляла. Сейчас я свободна. Проходя мимо твоего дома, я услышала, как вы с отцом орете друг на друга, и подумала, что тебе не помешает небольшая разрядка. Я хочу тебя немного порадовать.

— А почему ты думаешь, что сможешь меня порадовать?

— Мое призвание — дарить мужчинам радость, ты что, забыл?

— Забудешь, пожалуй! — расхохотался Антемион. Беседуя, они достигли поросшего яблонями холма, с вершины которого открывался вид на убогие лачуги, освещенные луной и тусклыми факелами. В воздухе пахло черемицей. Усевшись на траву и прислонившись к ограде, гетера и юноша ждали наступления ночи. Из-за линии горизонта, цепляясь за ветки, вылезала огромная, надменная луна. Необула чувствовала, что ее спутника пробирает дрожь.

— Знаешь, меня долго не было в Афинах, — проговорила она. — Здесь у меня почти не осталось друзей.

— Где же ты была?

— Где меня только не было. Я путешествовала с одним человеком, купцом. Он умер.

— А мне так хочется сбежать из Афин и отправиться странствовать, посмотреть, как живут люди в чужих краях. Едва ли намного хуже, чем здесь.

— Ты не воевал?

— Воевал, в Эгоспотамах[[44]](#footnote-44) и еще кое-где, но это вряд ли можно считать настоящим путешествием.

— Ты ведь достаточно богат, чтобы отправиться, куда тебе заблагорассудится.

— Это отец богат, а не я. Будь у меня деньги, я давно убрался бы подальше от него и от этого города.

— А чем занимается твой отец?

— Торгует кожей. Он унаследовал дело от своего отца и увеличил оборот втрое. Шкуры, рога, краски — в общем, все, что только можно содрать с бедной скотины. Хочет, чтобы я работал на него, а когда он состарится и уйдет, взял бы все в свои руки и продолжал семейное дело.

— Что ж, вполне естественно. Я здесь не вижу ничего плохого.

— Конечно. Впереди безоблачная жизнь. Я же не буду сам дубить шкуры — мне придется только их продавать. Обрасту связями, стану богатым и уважаемым человеком.

— Но тебя, похоже, такая жизнь не прельщает, — произнесла Необула, стараясь придать голосу задушевные, даже материнские нотки.

— Так ведь это же навсегда. Даже если я стану богачом, мне уже не удастся изменить свою жизнь, выбрать иной путь, побывать в других странах; семейное дело будет держать меня на привязи, придется отдать ему всего себя, а потом передать сыну, как мой отец мне. — Антемион тяжело вздохнул. Привыкнув к обществу гетеры, он осмелел и разоткровенничался. — Но я не смогу торговать, у меня нет отцовского чутья, кожевенное ремесло меня нисколько не интересует, и, кроме того, я сыт по горло его приказами и придирками.

— У большинства людей таких проблем нет, потому что нет выбора.

Антемион пропустил эти слова мимо ушей. С каждой минутой он делался все мрачней и торжественней.

— Что же мне делать… — вздыхал юноша. — Если бы только знать наперед, какое решение окажется правильным.

— Погоди, я знаю, как тебе помочь, — проговорила Необула. — Ты знаешь Сократа?

— Конечно. Он тренируется в нашей палестре[[45]](#footnote-45). Непревзойденный атлет. В свои шестьдесят лет не боится бороться с самыми молодыми из нас. Впрочем, мы не слишком близко знакомы.

— По-моему, он как раз тот человек, который тебе нужен.

— Отчего ты так решила?

— Потому что он мастерски умеет определять призвание человека.

— О нем, вообще-то, разное говорят.

— О нас, гетерах, тоже, ну и что с того? Антемион кивнул, глядя на девушку с нескрываемой страстью.

— Я прежде не встречал таких женщин, как ты, — внезапно выпалил он и робко, смущенно улыбнулся.

Неловкая откровенность юноши тронула Необулу.

— Ты хотел сказать мне любезность?

Антемион обнял женщину за плечи и замер, не решаясь поцеловать ее. Необула сама потянулась к нему. Всякий раз, когда гетере удавалось соблазнить неопытного мальчишку, она чувствовала смутную, жестокую радость. В далекой дубраве раздалось и тут же смолкло отрывистое уханье совы.

### ГЛАВА VIII

После заката жизнь в квартале Горшечников била ключом. Из-за деревьев неслись монотонные крики торговцев, расхваливавших свой товар. Лунный свет отражался на серебристой чешуе рыбешек, вываленных на дощатые прилавки, играл на ободах глиняных кувшинов с оливковым маслом и придавал бронзовым треножникам таинственный пурпурный блеск. Пахло забродившим виноградом, гнилыми фруктами, человеческим потом и собачьим дерьмом. На кривых улочках толпился бессовестный, жуликоватый народ, готовый до хрипоты торговаться за любую мелочь.

Закутанный с головы до ног в плащ из грубой ткани, Сократ размеренно шагал по улице и с огромным интересом слушал своего спутника — стройного юношу, который рассказывал философу о невыносимой жизни в родительском доме, о терзавших его сомнениях и о властном отце, который заставлял сына посвятить себя семейному делу. Философ любовался красотой молодого человека, восторгался его умом и перебил своего собеседника всего один раз:

— Любезный Антемион, мы с тобой поглощены беседой и не замечаем того, что творится вокруг, словно идем по безлюдной пустыне. А ты попробуй оглядеться по сторонам и увидишь других людей, со всеми их делами и бедами. Тебе стоит многому у них поучиться.

Они остановились посреди площади, чтобы осмотреться. Водонос спешил куда-то с ведром на голове, крестьяне наперебой расхваливали свой товар: подходите, налетайте, пробуйте, госпожа, не трогай руками, все и так свежее, всего три драхмы, одна, нет, три, ну ладно, две; повсюду витал сладковатый запах гнилых плодов, деревянные прилавки провоняли рыбой, прямо под открытым небом варили похлебку из дичи, жарили селедку, пекли хлеб; кто-то безуспешно пытался вытащить из корзины откормленную курицу, кто-то изучал зубы покупного осла, кто-то сунул палец в киликс[[46]](#footnote-46) с оливковым маслом. Пыль поднятая подошвами сотен сандалий, оседала на прилавках, навесах и ветвях деревьев.

Одетый в лохмотья проповедник, забравшись на ящик с фруктами, убеждал стайку крестьян испробовать чудодейственную силу вегетарианского питания. Компания подвыпивших юнцов выбрала горе-философа в качестве мишени для увесистых камней, и ему пришлось спасаться бегством. Народ на площади проводил бедолагу дружным хохотом и прибаутками.

— Ликтей! — гоготали зеваки. — Почему над тобой вечно вьются мухи?

Проповедник повернулся к своим обидчикам и, направив на них указующий перст, со зловещим видом провозгласил:

— Мухи чуют мертвую плоть!

Антемион и Сократ прибавили шагу, чтобы поскорее миновать гогочущую толпу.

— Ты заметил что-нибудь интересное? — спросил философ.

— Это как в палестре, когда атлеты борются за горсть фиников.

— Думаешь, все эти люди задаются вопросом, верный ли жизненный путь они выбрали?

— Вряд ли, — улыбнулся Антемион. — Они тратят силы на то, чтобы пережить еще один день.

— А на что тратишь свои силы ты?

— Будь я таким, как они, я хотел бы одного: чтобы моя мать ни в чем не нуждалась, мне самому вполне хватило бы того, что у нас уже есть.

— Стало быть, ты отличаешься от них лишь тем, что твой отец богат. Так получается?

— Но я не чувствую себя таким, как они. Сын кузнеца становится кузнецом, потому что проводит в кузнице дни напролет и видит, как работает отец; сын пастуха помогает отцу пасти стада на склонах холмов, и все они, обучаясь семейному ремеслу, не задаются вопросом, принесет ли оно им счастье и в этом ли состоит их призвание, — они знают, что так смогут прокормиться, а потому не колеблются и не ошибаются. Но мне мало просто зарабатывать на жизнь. Я чувствую, что способен на большее, но не знаю, на что.

— Это, несомненно, важный вопрос, — согласился философ. — Но для начала нам с тобой нужно разрешить вопрос попроще. С какой стати молодому человеку сомневаться, стоит ли идти по стопам отца, если этот путь обещает ему процветание?

— Возможно, этот молодой человек утратил разум.

— Разум это способность принимать решения. Ты уверен, что причина терзаний юноши кроется именно в этом?

— Значит, я был не прав. С головой у него все в порядке.

— Отлично сказано, дружище Антемион. Разум отличает нас от более примитивных созданий. Однако нужно уметь правильно им пользоваться, чтобы не угодить в ловушку наших собственных заблуждений и выйти на правильный путь.

— Но тогда получается, что правильный путь — это стать таким сыном, о каком мечтает мой отец.

— Посмотрим. Верность своей семье и почтение к родителям — несомненные добродетели. Но спросим себя: а всегда ли быть хорошим сыном означает во всем подчиняться отцу? Ты сам как думаешь?

— Я думаю, что да, Сократ.

— Тогда представь, что твой отец — забойщик скота, а тебя, как это часто бывает, мутит, едва ты переступишь порог бойни. Твой отец будет прав, если заставит тебя сдирать и дубить шкуры?

— Наверное, нет, Сократ. В этом случае отец определенно будет не прав.

— А что ты скажешь об отце, что заставляет сына жениться на женщине, которая ему противна?

— То же самое — это будет несправедливо.

— А если учесть, что таких отцов немало и они довольно часто бывают несправедливы, к какому выводу мы должны прийти?

Антемион ответил не раздумывая:

— Что отцы не всегда должны решать за сыновей. Я даже осмелюсь сказать, что никогда, хотя традиции требуют обратного.

— Прекрасно, Антемион, мой мальчик. Верность семье и почтение к старшим действительно не означают, что дети непременно должны подчиняться родителям. Теперь, когда это сомнение мы разрешили, тебе, возможно, проще будет найти точный ответ на главный вопрос.

— Любезный Сократ, ты совершенно прав, — заявил юноша, чрезвычайно довольный таким оборотом.

— Подобное нетерпение и страх перед будущим вполне естественны для твоего возраста, но спешить не стоит. Скажи-ка, что тебе так не нравится в кожевенном деле — само ремесло или необходимость трудиться под началом отца?

Антемион надолго замолчал. Прежде он об этом не задумывался. Какое-то время юноша и философ в полном молчании шагали по узким улочкам, все больше отдаляясь от шумной торговой площади. Сократ предложил Антемиону вообразить, что он торгует кожей, совсем как отец, но отдельно от него, сам. И что же? Такое будущее по-прежнему страшило юношу, поуже куда меньше. Поразмыслив, Антемион признался Сократу, что просто-напросто не желает подчиняться отцу. Его тяготил властный характер Анита, который считал сына несмышленым младенцем и привык решать за него.

— Что ж, мы неплохо продвинулись, — заметил Сократ. — А теперь давай на время оставим твоего отца и сосредоточимся на том, чего хочешь ты сам.

— Я много думал об этом, — признался юноша, — подо сих пор не знаю, чего хочу, и не знаю, как это понять.

— Сначала мы попробуем понять, чего ты не хочешь и почему. Тогда, возможно, станет яснее, к чему мы должны прийти. Поговорим о самом ремесле. Что тебе придется делать.

— Нужно отмачивать шкуры в сосновых чанах, пока не задубеют руки, все время нюхать туши, свежевать их, пока с собственных пальцев не начнет облезать шкура, задыхаться от запаха красителей, толкаться на скотоводческих ярмарках; кроить, резать, сушить, вымачивать — и так каждый день, год за годом, и конца-края этому не видать.

— Но ведь дело-то прибыльное?

— И можно знакомиться с разными людьми.

— Знакомиться с людьми, — задумчиво повторил Сократ. — Существует немало способов узнавать людей. Как, по-твоему, наша беседа хоть чем-то напоминает переговоры двух купцов? Интересно, что ты на это скажешь.

— Я часто сопровождал отца на встречи со скотоводами и скорняками, и они всегда говорили только о делах.

— Это вполне естественно, о чем же еще говорить тем, кто занимается кожевенным ремеслом. Лучше ответь мне, что значит торговать?

— Получать выгоду от продажи и покупки.

— То есть выгода состоит в том, чтобы скопить побольше денег?

— По словам отца, суть торговли состоит в том, чтобы обманывать других. — Антемион помолчал. — Знаешь? У него нет друзей, хотя он всегда окружен людьми. Должно быть, их привлекают деньги.

— Значит, тебе нравится общаться с людьми, но не так, как твой отец. Я правильно понимаю?

— Совершенно точно, Сократ. Мне хотелось бы выбрать путь, который позволит быть открытым и искренним.

— С какими людьми? Например, с неотесанным деревенским пастухом, который в жизни не слыхивал ни об Эсхиле[[47]](#footnote-47), ни о Софокле? — усмехнулся Сократ.

— Пускай пастух не слышал ни об Эсхиле, ни о Софокле, но с ним будет интересно поговорить о козах, — шутливо заметил Антемион.

— Безусловно, — мягко сказал Сократ, — но не о театре. Впрочем, на пути, который выбрал твой отец, тебя наверняка ждет немало полезных и приятных вещей.

— Едва ли. Теперь я ясно вижу, что соглашаться не надо.

— Допустим, но не будем торопиться с выводами. Мы еще не рассмотрели все твои желания и не выбрали самые достойные. Или ты уже сейчас точно знаешь, что ни в коем случае не станешь работать с отцом?

— Не знаю… — В голосе Антемиона появились тревожные нотки. — Размышляя об этом, я отчего-то не чувствую ни покоя, ни уверенности.

— Я так и подумал. Но мы должны найти причину, — ответил Сократ.

— Уж точно не потому, что боюсь разочаровать его, — усмехнулся юноша. — Теперь я вижу, что отец не имеет на меня никаких прав. Я не чувствую себя обязанным ему.

— И что же тебя в таком случае беспокоит?

— Кажется, я совсем запутался, — пробормотал Антемион.

— Не спеши. Пока нам удалось выяснить, что, хотя твои желания полностью противоположны устремлениям отца, ты вовсе не уверен, что не хочешь продолжать его дело. Когда мы поймем, что заставляет тебя чувствовать именно так, правильное решение придет само.

— Я боюсь — боюсь, сам не зная чего.

Последние слова Антемион произнес робко, растерянно. Сократ положил руку на плечо юноше и ободряюще улыбнулся.

— Ты молод, друг мой, но смел и силен. Поверь мне, тот, кто испытывает безотчетный страх, знает, чего боится, но не хочет признаться в этом самому себе. Ответ лежит на дне твоей души — наберись смелости и загляни туда.

— Помоги же мне.

— Правда в том, что ты прекрасно понимаешь, насколько выгодно отцовское дело. Потому и колеблешься.

— Но ведь мы не нашли никакой выгоды. Сократ исподлобья испытующе смотрел на молодого человека.

— Тебе нравится дом, в котором ты живешь? Антемион немного подумал.

— Там очень уютно, — признал он наконец.

— Опиши мне его. Это нам поможет.

— Там просторно, светло и тихо. Во дворе конюшня с добрыми лошадьми. Я обожаю скакать верхом по тенистым дубравам. Двор такой широкий, что в нем можно упражняться в стрельбе из лука. На обеду нас часто бывает свежая дичь и превосходное вино. Я тренируюсь, сколько хочу, мне делают отменный массаж. У нас собственный колодец, так что нет нужды таскать воду издалека. В общем, мне в этом доме все нравится, кроме того, что он принадлежит отцу.

— Надо сказать, немногие жители Афин могут позволить себе столь роскошное жилье.

— Немногие.

— А что если ты его утратишь? Сильно огорчишься?

— Откровенно говоря, да. — Едва юноша произнес и осознал это, его щеки залила краска стыда.

— А что плохого в достойной скромной жизни, без излишеств?

В этом вопросе скрывался какой-то подвох. Антемион, как ни старался, не мог угадать, что хочет услышать философ. Пришлось искать ответ в собственном сердце.

— Пожалуй, нет, Сократ. Но в достатке и роскоши тоже нет ничего плохого.

— Вопрос о том, что в нашей жизни имеет истинную ценность, слишком глубок и сложен, за один вечер нам его не решить, верно?

— Ты прав, Сократ.

— Ты говоришь, что богатство не имеет для тебя особого значения, однако страх потерять его мешает тебе понять собственное призвание.

Антемион молчал. Сократ не торопил юношу с ответом. Когда молодой человек уже собирался нарушить молчание, улицу внезапно огласил душераздирающий ослиный рев. Переждав несколько мгновений, Антемион признался, что стал куда лучше понимать самого себя.

— Ну что ж, — произнес Сократ, останавливаясь на перекрестке, — мы на распутье, и выбрать правильную дорогу будет непросто. Давай-ка остановимся на этом, чтобы ты мог хорошенько обдумать наш разговор, а потом продолжим.

Антемиона не оставляло ощущение, что Сократ знает о нем куда больше, чем он сам. Молодой человек восхищался прозорливостью философа, был благодарен ему за участие, но ведь Сократ не дал ему ни одного ответа, а вместо этого задал целую кучу новых вопросов. Юноше волей-неволей пришлось открыть чужому человеку самые сокровенные уголки своей души, посвятить чужака в неприглядные подробности жизни своей семьи, и теперь сгорал от стыда. Антемион с безжалостной ясностью видел, что, по сути, он ничем не отличается от самых грубых и жалких простолюдинов: больше всего его волнует собственное благополучие. Жестокий урок пошел на пользу. Под глубоким, проницательным взглядом Сократа он чувствовал себя обнаженным, выпотрошенным, беззащитным — каким и был на самом деле.

С тех пор дружба юноши и философа крепла, они часто прогуливались вдвоем, поглощенные беседой, и Сократ все повторял один и тот же вопрос: «Чего же ты хочешь от жизни?» — и не получал на него вразумительного ответа. Прежде Антемион не задумывался о существовании истинных и ложных ценностей. Между тем, выбор, который ему предстояло сделать, был куда сложнее, чем могло показаться. Юноша попал в настоящий лабиринт вопросов, один труднее другого. Он был опустошен, растерян и утешался лишь тем, что наставник не бросит его наедине с терзаниями и сомнениями. Сократ знает, что делает. Антемион слепо доверял философу, как неразумное дитя доверяет мудрому отцу. Он отдал бы все на свете, чтобы стать настоящим учеником Сократа.

Необула издалека наблюдала за собеседниками, стараясь не упускать их из вида. Она следила за успехами Антемиона в познании самого себя.

### ГЛАВА IX

Утимареты были миндалевидные глаза и золотисто-смуглая кожа; плясунья Эвтила изгибалась с кошачьей грацией; Хлаис, с розовато-белой мраморной кожей, которой словно никогда не касались лучи солнца, замечательно играла на гобое. Но любимицей Аристофана была дерзкая, непокорная Необула, у которой хватало наглости просить за свою любовь целых тридцать драхм и мастерства на то, чтобы ни один мужчина о них не пожалел. Гетера мучила своих поклонников с чудовищным наслаждением и брала с них плату с видом богини, принимающей жертву. Необула была тезкой другой знаменитой красавицы, музы поэта Архилоха Паросского[[48]](#footnote-48), и Аристофан, оставаясь с нею наедине, любил повторять изящные строчки:

Если б мог я коснуться руки Необулы,

утащить ее к себе на ложе

слиться с ней в сладостных объятьях…

Едва переступив порог «Милезии», гость тут же попадал в купальню, где юные нимфы отмывали его с головы до ног — порой, не слишком-то нежно — при помощи горячей воды и пепла. Это правило соблюдалось неукоснительно, и многие мужчины приходили в дом свиданий грязными, а уходили чище некуда; в Афинах говорили, что горожанин, как следует отмытый выше пояса, едва ли может похвастаться такой же чистотой чуть ниже. Хозяйка опасалась скандалов и зорко следила за тем, чтобы гости не пили лишнего. Пьяным вход в «Милезию» был заказан. На пороге неизменно дежурила крепкая бабенка, которая без всяких церемоний приказывала пьянчугам убираться домой или к шлюхам из квартала Горшечников. «Милезия» не испытывала недостатка в посетителях, и ее владелица старалась поддерживать в заведении дух непринужденного дружелюбия, чтобы мужчины оставались довольными и не обижали гетер. Это был лучший в Аттике дом свиданий, и женщины весьма дорожили его репутацией. Если какой-нибудь незадачливый гость, которого не пустили на порог, начинал буянить, добрая душа с первого этажа запросто могла облить его помоями.

Гетеры «Милезии» гордились своим ремеслом и не стеснялись получать удовольствие от любовных утех. Они услаждали гостей, не теряя поистине царственного достоинства, и не забывали жертвовать часть заработка сладострастной Афродите. Гетеры отлично знали, что каждый афинский мужчина мнит себя непревзойденным любовником. Подобное тщеславие не позволяло посетителям отличать подлинную страсть от искусного притворства. Аспазия внушала своим воспитанницам, что обмануть мужчину проще простого, и сама приказывала им имитировать страсть, чтобы не оскорблять мужского самолюбия. В «Милезии» каждого встречали как дорого гостя, о ночи с которым любая из тамошних гетер может только мечтать. Женщинам, принимавшим за ночь не одного посетителя, нелегко было вновь и вновь разыгрывать один и тот же спектакль, но мужчины охотно позволяли обманывать себя. Завсегдатаи «Милезии» тешили себя надеждой, что красотки с нетерпением ждут их визитов, а гетеры наслаждались властью над ними.

Тот вечер по обыкновению начался с изысканной прелюдии к дальнейшим наслаждениям. Один из посетителей, громко смеясь, старался отнять у гетеры диск, который она прижимала к голому животу. Несколько девушек танцевали на маленькой сцене под аккомпанемент флейт, кифар и гобоев, и светильники отбрасывали на их тела причудливые отблески. Аристофан и Необула развалились на необъятном ложе. Сладкое вино развязало комедиографу язык:

— Ты так хороша, Необула, что даже твое скверное ремесло нисколько тебя не портит. Чем больше я тебе плачу, тем яснее понимаю, что разорюсь раньше, чем на твоем прелестном личике появится хоть одна морщинка.

— Лучше прославь меня в своем творении.

— Что ты, милая, я же не Еврипид, чтобы славить красоту высоким слогом, у меня выходят только грубые шутки на потребу черни.

— Тогда мне придется попросить своего друга, ученика Фидия, чтобы он изваял меня в образе Афродиты.

— А ты не боишься пробудить в богине зависть?

— Я предпочла бы пробудить в Аристофане сладострастие.

— Странно, что Зевс до сих пор не спустился с Олимпа насладиться твоей красотой; он мог бы обернуться любым из твоих мужчин — мной, например.

— Ну если бы меня и вправду посетил Зевс, уж я бы об этом знала, — рассмеялась женщина. — Его, наверное, ни с кем не спутаешь.

— Ты имеешь в виду размер?

— Разумеется.

— Если дело в размере, Зевс точно выберет меня.

Необула ответила сочинителю ядовитой улыбкой:

— По правде говоря, ты ни капельки не похож на Зевса — даже на Зевса, который прикинулся Аристофаном. Скорее уж, на Пана, такого, знаешь ли, зловредного коротышку, который не пропускает ни одной пастушки.

— А ты напоминаешь Афродиту, обернувшуюся Необулой.

— Ты очень любезен, Аристофан.

— Не зря же я тебе плачу.

— Будь осторожен, ты тратишь на меня все деньги, которые хозяйка[[49]](#footnote-49) платит за твои комедии.

— Оно того стоит. Мои денежки не утекают в никуда, как у других.

— Быть может, стоит подумать о будущем? Хозяин дома вот-вот выставит тебя вон за неуплату.

— Сегодня у меня есть крыша над головой. Какая разница, что будет завтра?

Необула слегка отодвинулась, чтобы взглянуть Аристофану в лицо:

— Стыдно признаться, но мне нравится тебя разорять.

— А я счастлив, что тебе это нравится. Но оставим столь сложные материи, поговорим о чем-нибудь попроще — например, о браке. Ты выйдешь за меня?

— Боги! Ты так высоко меня ценишь, что готов сделать рабыней и заодно присвоить мои деньги?

— Ну что ты, Необула. Для меня самое ценное сокровище — твоя красота. Твои соски слаще амброзии, твои ляжки мягче голубиных перышек.

— Что за блажь взбрела тебе в голову, Аристофан! С какой стати ты мне делаешь это нелепое предложение? Или ты и впрямь влюблен?

— Я думаю о тебе целыми днями, Необула. День для меня померк, я живу в ожидании ночи… — Комедиограф покопался в памяти в поисках возвышенных метафор и добавил: — Мне опротивел божественный свет Гелиоса, я не могу дождаться, когда Селена откроет свой бледный лик, чтобы…

— А ну прекрати, — разозлилась гетера. — Лирика не для тебя. Скажи лучше, что целый день ждешь не дождешься, когда откроется дом свиданий.

— Ответь же, Необула, неужели ты ко мне совсем равнодушна? Неужели ты не способна ответить на мои чувства?

— Ты же знаешь, Аристофан, ты для меня — один из посетителей. Морочить тебе голову куда интереснее, чем другим.

Слова гетеры пролились на душу комедиографа чудодейственным бальзамом. Окончание фразы он пропустил мимо ушей.

— Впрочем, ты и сам понимаешь, жертвовать ради тебя свободой я не стану. Я самостоятельная женщина. Что за радость провести остаток дней в гинекее, производя на свет маленьких Аристофанчиков.

— Ах, до чего же ты ко мне несправедлива. Я буду не такой, как другие мужья. Мы предназначены друг другу, я точно знаю.

— Откуда?

— Но ведь какая-то сила сводит нас вместе каждый вечер?

Необула со смехом потянула комедиографа за оттопыренное ухо.

— Так-то оно так, но для женитьбы этого маловато. Если бы ты и вправду меня любил, то не стал бы делать рабыней.

— Мы оба, как никто другой, заслуживаем свободы. Если сложить вместе мой талант и твою красоту, это будет поистине великий союз.

— «Мой талант и твою красоту», — передразнила Необула. — Ты действительно талантлив и… умен, пожалуй. У меня есть красота — единственное оружие, доступное слабой женщине. А у тебя, кроме таланта, есть твое непревзойденное уродство. Нос твой подобен здоровенной картофелине, уши твои напоминают лопухи. Но ничто не сравнится с твоим поистине непомерным пузом, которое колышется в такт твоим движениям, стоит тебе меня оседлать.

Аристофан засмеялся и взъерошил гетере волосы.

— Я предпочту яд из твоих уст вину из этого кубка, — провозгласил он, отпив глоток. — Выйди за меня и сделай мою жизнь восхитительно невыносимой!

— Вы, мужчины, не умеете добиваться женщин. Вы совсем нас не понимаете.

Аристофан оглушительно расхохотался и хлопнул по плечу своего приятеля Кинезия[[50]](#footnote-50), который растянулся на ковре, наслаждаясь превосходным массажем, который делала ему Хлаис.

— Слыхал, Кинезий? Моя красавица утверждает, будто мы не способны понять женщин.

Друг комедиографа охотно посмеялся вместе с ним. Необула жаждала надавать Аристофану пощечин, но понимала, что это ни к чему не приведет.

— Без обид, — проговорил Кинезий, сдерживая смех, — но пока я содержу свою семью, моя жена будет сидеть в гинекее. Иначе не знать мне покоя: она у меня такая легкомысленная, того и гляди, попадет в историю. А я не желаю становиться посмешищем, как иные из нас, обойдемся без имен. — Он подмигнул Аристофану и приятели вновь разразились хохотом.

— Позволь спросить, Кинезий, — подала голос Тимарета, — о чем ты обычно говоришь со своей женой?

— Ну… это… о всякой ерунде, о чем с ней еще говорить.

— Вот видите, вам никогда не найти с нами общий язык, — заявила Необула. — Никогда вам нас не понять.

— Все женщины одинаковы, — разглагольствовал Кинезий, чувствуя мощную поддержку комедиографа. — Упрямые, своенравные и вероломные. Вспомните старые времена. Кто они, выдающиеся женщины прошлого? Деянира, убившая своего законного мужа Геракла из ревности и глупых подозрений; колдунья Медея, предавшая отца и брата ради Ясона…

— И убившая собственных детишек! — с готовностью подсказал Аристофан.

— Елена, жена царя Менелая, — продолжал Кинезий, — сбежала с любовником и развязала войну; брат Менелая Агамемнон пал от руки своей жены Клитемнестры, а Электра, еще один отпрыск этого славного семейства, подговорила брата Ореста убить собственную мать. Цирцея пыталась отравить Одиссея, когда ей не удалось затащить его на ложе. А Калипсо держала его в плену целых семь лет.

— Не забудь сладкоголосых сирен и гарпий!

— Да всех и не упомнить.

— А Пенелопа, жена Одиссея? — воскликнула Тимарета. — Разве она не хранила верность мужу, пока тот мотался по чужим краям?

— Ты слышал? — комедиограф толкнул друга в бок, борясь с приступами хохота. — Она… вспомнила… Пенелопу!

— Ну да! У нее еще были сто… двадцать девять… женихов! — Кинезий смеялся до слез.

— И что там было со ста двадцатью девятью женихами? — улыбнулась Необула.

Аристофан все не мог перевести дух:

— Ну же, Кинезий… Во имя Зевса!.. Расскажи ей… что там было… с этими женихами!

Подавив раздражение, Необула принялась ласкать Аристофана особым способом, который сводил его с ума. Ощутив острое возбуждение, комедиограф тут же позабыл о Пенелопе и переключил внимание на гетеру. Необула прошептала ему на ухо:

— Сегодня я приготовила для тебя нечто особенное.

Заинтригованный Аристофан вскинул брови. Поднявшись на ноги, он покорно протянул гетере руку, давая понять, что готов отправиться с ней куда угодно.

— Берегись, она пожирает мужчин! — веселился Кинезий.

— Боги избрали для меня поистине сладостную смерть! — отозвался Аристофан с блаженной улыбкой.

Гетера увлекла комедиографа в большую комнату без мебели, все убранство которой составляли толстый ковер и разбросанные по углам подушки. Аристофан слышал, что самые богатые посетители готовы заплатить баснословные суммы за право побывать в тайных покоях, недоступных простым смертным, но ему самому такое было, разумеется, не по карману. И вот теперь, благодаря щедрости Необулы, комедиографу представилась возможность испробовать самых изысканных наслаждений, знакомых лишь посвященным. Меж тем, гетера приступила к таинственному и жуткому ритуалу, который и пугал, и возбуждал одновременно. Заставив Аристофана раздеться, она сковала его по рукам и ногам.

— Весьма любопытно, — пробормотал комедиограф.

Аристофан стоял на четвереньках, короткие цепи почти не позволяли ему двигаться. Гетера зашла сзади и ласкала ему ягодицы и живот. Грудь Необулы касалась спины Аристофана, ее рука змеей скользила к низу его живота, легонько царапая кожу. Комедиограф чувствовал, что теряет голову. Вот рука женщины легонько сжала его пенис. Аристофан дышал тяжело и прерывисто.

— Ты мой раб.

— Я твой раб, госпожа.

Пальцы гетеры на мгновение разомкнулись и тут же снова сомкнулись на основании пениса, вырвав у мужчины стон муки и восторга. Он ждал, затаив дыхание, но гетера уже принялась гладить его ягодицы, глубоко проникая между бедер. Аристофан словно погружался в кипящую лаву. Но ласки внезапно прекратились.

— В чем дело?

— Мне понадобится конский жир. Подожди минутку.

— Конский жир? — перепугался Аристофан.

Но Необула уже выскользнула из комнаты, оставив его одного, в нелепой и унизительной позе. Аристофан робко огляделся, стараясь не думать о сковавших его кандалах. Внезапно послышался чей-то смех. Комедиограф вздохнул было с облегчением, но тут же понял, что это не гетера. Смеялся мужчина. Повернув голову, насколько это было возможно, Аристофан побелел от ужаса: в комнату вошел Анит, один из самых свирепых его кредиторов. Усевшись на должника верхом, Анит ухватил Аристофана за волосы и резко запрокинул ему голову.

— Как приятно видеть тебя здесь, в столь удобном положении, — промурлыкал он сладким голоском, в котором таилась смертельная угроза, — а то ты взял привычку водить меня за нос.

— Я как раз собирался тебя разыскать, клянусь!

— Очень хорошо! Значит, ты готов вернуть мне три тысячи сто драхм?

— Так много? Я же брал ровно три тысячи.

— Это было еще в прошлом году. С тех пор успела смениться не одна луна.

— Да, да, конечно, не беспокойся. Я заплачу на этой неделе.

— Надеюсь, на этот раз ты не врешь, для твоего же блага.

— Да нет же, точно. Я обязательно заплачу.

Анит разжал кулак, но слезть со спины комедиографа не спешил. В комнате повисла тишина. Аристофан гадал, какое унижение последует теперь. Новая пытка не заставила себя ждать: по шее и спине комедиографа побежали горячие струи. Мучитель вновь разразился злобным смехом.

В этот момент дверь отворилась. Аристофан боялся повернуть голову, чтобы моча не попала в глаза, однако он почувствовал, что кредитор разом сник. Анит соскочил со своего должника и, потупившись, вышел вон. Судя по всему. Необула имела над ним огромную власть.

Женщина вытерла Аристофана полотенцем и поинтересовалась, как он себя чувствует.

— Лучше отвяжи меня, крошка, хватит на сегодня.

— Еще чего, Аристофан. Я привыкла все доводить до конца.

Щедро смазав деревянный фаллос конским жиром, Необула резким движением вонзила его Аристофану между ягодиц. Комедиограф завопил и попытался вырваться, но цепи его не пускали, а гетера неумолимо вонзала свое орудие все глубже, разрывая ему внутренности.

Аристофан выл от боли и дергался, цепи мелодично звенели. Потом он замер, плача от нечеловеческой боли, уже не чувствуя никакого возбуждения, а деревянный фаллос проникал в него все глубже.

— Прекрати! Я больше не могу! — взмолился Аристофан.

Она прошептала ему на ухо:

— Любви без боли не бывает.

Необула начала водить фаллосом туда-сюда, имитируя движения мужчины во время совокупления, свободной же рукой она ласкала чресла своей жертвы. По бедрам Аристофана побежали струйки крови вперемешку с растопленным жиром. Женские и мужские голоса слились в один протяжный стон; гетера стонала от удовольствия. На пике блаженства. Необула вырвала фаллос из зада комедиографа и сунула ему в рот.

— Оближи, или умрешь!

Несчастный Аристофан не мог пошевелиться; желудок его сводили сухие, бесплодные спазмы. Комедиограф чувствовал, что последние силы оставляют его. Гетера перевернула его на спину, забралась верхом и стала раскачиваться все быстрее и быстрее, торопя наслаждение.

В дверях Аристофан столкнулся с Кинезием. Бледный и рассеянный комедиограф старался ступать осторожнее, чтобы приятель не догадался, как пылает и ноет все его нутро.

— Ну как? — Кинезий хлопнул друга по плечу.

— Поразительно. Никогда в жизни не испытывал ничего подобного. — Комедиограф криво усмехнулся. — Моя цыпочка делает все, что я велю.

— И то, чего не велишь, само собой!

В этих словах Аристофану послышалась издевка. Он спросил себя, насколько его друг осведомлен о том, что происходит в тайной комнате. Впрочем, у комедиографа слишком сильно болел зад, чтобы терзаться сомнениями.

В прохладной передней приятели натянули одежду на влажные от своего и чужого пота тела. Рука об руку, слегка пошатываясь, — Кинезий выпил лишнего, а комедиограф чувствовал себя дичью, нанизанной на вертел, — они побрели вверх по улице, шлепая сандалиями по лужам. Луна светила совсем тускло, но оба отлично знали дорогу. Они шагали сквозь темноту, пока не уперлись в стену.

— Пойду я, пожалуй, домой, Кинезий, — проговорил Аристофан. — Что-то я притомился. Еле на ногах держусь. С чего бы? Послушай, дружище, не одолжишь ли ты мне пятьсот драхм?

— Пятьсот драхм! — воскликнул Кинезий в пьяном изумлении.

— Ну ладно, четыреста двадцать пять.

— Во что это ты вляпался, если начал грабить друзей?

— У меня небольшие проблемы. Но я все верну, клянусь Зевсом, вот только закончу новую пьесу!

Кинезий со вздохом достал из кошелька горсть серебряных монет. Ровно сто драхм.

— Когда в следующий раз решишь поискать приключений, лучше отправляйся со мной в кабак.

Аристофан бросился целовать приятелю руки.

— Ты мой самый лучший друг, честное слово! Кинезий недоверчиво покачал головой, и каждый пошел своей дорогой.

### ГЛАВА X

Мрачная толпа, ожидавшая корабли В Пирейском порту, состояла в основном из женщин, стариков и негодных к военной службе рабов. Люди сбивались в стайки, свои к своим, и негромко переговаривались, а порой кое-кто принимался громко стенать. Накануне разразилась страшная буря, но теперь море было совершенно спокойно, по воде пробегала лишь легкая рябь. Вечер уже раскинул в небе тонкое покрывало сумерек, когда на горизонте показались силуэты кораблей. Люди на берегу с тревогой вглядывались вдаль, вновь и вновь пытаясь сосчитать паруса. В порт возвращались далеко не все.

К берегу причалили сто двадцать боевых трирем[[51]](#footnote-51). Двадцать пять кораблей утонули, и суда шли под черными парусами в знак скорби о погибших товарищах. Триремы швартовались в полной тишине. Потом очнувшаяся толпа разразилась плачем и отчаянными воплями. Воины сходили на берег с оружием в руках, не сняв боевых доспехов. Женщины с плачем бросались им навстречу, надеясь отыскать среди выживших своих мужей и сыновей.

Внезапно у Аспазии вырвался возглас облегчения: она узнала среди флотоводцев своего сына Перикла. Мать бросилась к юноше и прижалась к его груди, не пытаясь сдержать слез. Изможденный Перикл, казалось, не узнавал ее.

На следующее утро восемь флотоводцев, переживших катастрофу при Аргинузах[[52]](#footnote-52), предстали перед судом. Измученных воинов обвинили в том, что они бросили товарищей на произвол судьбы. Командир головного судна, который в последней битве был триерархом[[53]](#footnote-53), не пожелал признать себя виновным и свалил все на флотоводцев. Те отказались выполнить приказ своего командира и не стали готовить корабли к непогоде.

Растерянные обвиняемые защищались как могли. Они рассказали, что спартанцы окружили афинян у Лесбоса, началось сражение, и, когда чаша весов стала склоняться в пользу Афин, разразилось ненастье. Одни корабли разбились о скалы, другие разметало ветром. Буря ломала мачты и крушила борта. Спартанцы уплыли прочь, а афиняне постарались увести оставшиеся корабли в безопасную бухту. Флотоводцы тщетно пытались пробиться к тонущим триремам. Казалось, огромные воронки затягивают их прямо в преисподнюю. Вокруг воцарились тьма и хаос. Воины не слышали друг друга. Триремы теряли управление. Каждый корабль, брошенный на произвол стихии, как мог, боролся с волнами. Спасенным пришлось отступить, потом они долго шли вдоль берега в поисках тихой гавани. Иначе жертв могло бы оказаться куда больше. Вот и все, что флотоводцы могли сказать в свою защиту.

Потом слово взял один из обвинителей — член команды головного судна. Он назвал флотоводцев подлыми изменниками и трусами. Ведь негодяи располагали всеми средствами, чтобы спасти корабли. Однако предпочли бросить товарищей, испугавшись за собственную шкуру.

Заседание Ассамблеи[[54]](#footnote-54) прервали злобные крики кровожадной толпы. Охрана принялась оттеснять разбушевавшихся афинян, а судьи объявили перерыв.

Увидев, какой оборот принимает дело, Аспазия кинулась искать союзников. Она умоляла Продика помочь, ведь он был послом и мог убедить судей в чем угодно. Горе подруги тронуло софиста до глубины души. Однако он понимал, сколь ничтожны шансы повлиять на Ассамблею. Его выступление в защиту Перикла непременно сочли бы вмешательством в афинские дела. Даже статус посла не защитил бы его.

— Мне все равно! — в бешенстве кричала Аспазия. — Спаси моего сына!

Она металась по комнате, не зная, как выплеснуть ярость и боль, пока не рухнула на пол обессиленная. Продик поднял женщину и попытался прижать к себе, но Аспазия яростно вырывалась, царапая его ногтями, рыдая от гнева и отчаяния. Наконец она оттолкнула Продика и в изнеможении прислонилась к стене. Оба чувствовали себя опустошенными, потерянными. В конце концов, Продик, стараясь не глядеть подруге в глаза, выдавил обещание явиться в суд.

Напрасно: он даже не сумел пройти на холм Будетерион[[55]](#footnote-55), где собралась Ассамблея. Стража не пускала в храм зевак. Судя по всему, внутри шел ожесточенный спор. Теперь Продик ясно видел, каким нелепым и бесполезным оказалось бы его появление в суде. Вмешательство посла только усугубило бы положение обвиняемых. Страсти в Ассамблее и так накалились до предела, а вмешательство чужеземца лишь неизбежно подлило бы масла в огонь. Усевшись на мраморную ступень, Продик изобретал весьма убедительные оправдания своего бездействия. Мимо, не поднимая глаз, прошла Аспазия; она вошла в храм, не удостоив друга и взглядом. Ни одна афинская женщина, кроме нее, не осмелилась бы переступить этот порог. Вскоре Аспазия покинула храм в сопровождении Сократа, одного из членов Ассамблеи.

Софисту так и не удалось поговорить с женщиной. Разбирательство вскоре возобновилось, а около храма уже собиралась взбешенная толпа. Дело приняло весьма неожиданный оборот. В храме невесть откуда появился свидетель, назвавшийся моряком с погибшей триремы, который спасся, ухватившись за обломок мачты. По его словам, помочь терпящим бедствие воинам никто не пытался. Дрожащим голосом свидетель поведал о том, как его друзья бились среди волн, постепенно теряя силы и погружаясь во тьму. Аспазия сразу заподозрила, что он подкуплен. Продик думал так же. Однако исход дела был предрешен. Толпа громко требовала жертв. Скованным по рукам и ногам флотоводцам приходилось слушать доносившиеся с улицы страшные проклятия. Измена каралась смертью, и все это знали.

Один лишь Сократ не испугался бесноватой толпы. Он бесстрашно защищал флотоводцев и обличал суд, готовый пойти на поводу у черни.

Гневные речи философа еще сильнее ожесточили судей. Противостоять Ассамблее в одиночку Сократ не мог. Флотоводцев признали виновными в измене и приговорили к смерти. Едва стемнело, их сбросили в пропасть Баратры[[56]](#footnote-56).

Продик навсегда запомнил слова Аспазии, полные ледяного презрения:

— Иногда, чтобы стать убийцей, достаточно промолчать.

Наутро после казни флотоводцев софист поднялся на борт небольшого судна, нанятого посольством, и отправился в сторону Киклад, обратно на Кеос. Аспазия больше не желала его видеть.

Прощание вышло скомканным и холодным — ни один из них не решился произнести слова, что дрожали на устах. Софист был в отчаянии. Он понимал, что едва ли сможет вернуться в Афины.

Аспазия вычеркнула Продика из своей жизни. Для нее Перикл и Продик умерли в один день. На дне глубокой пропасти покоилось тело сына Аспазии. И память о кеосском софисте.

Прошло много времени, прежде чем владелица «Милезии» всерьез пожалела о своем решении.

### ГЛАВА XI

Софист потратил целый год на то, чтобы избавиться от тягостных воспоминаний и начать жизнь заново. Тоска оказалась на редкость плохим компаньоном. Чтобы развеять печаль, Продик попросил правителя Анаксандра вновь назначить его послом. Софист навестил Протагора и вручил ему список книги, в которой были изложены воззрения его наставника. Принимая подарок, старый софист радовался как ребенок. Вдохновленный его похвалой, Продик тут же принялся за новую работу. Уединившись на старой вилле в городке под Юлидой, он без труда создал целых два сочинения: «О природе человека» и «Периоды». Оба сильно уступали первой книге софиста и скорее походили на легкомысленную игру со стилем. Время от времени Продика навещал старый друг, афинянин Горгий. Приятели много спорили: кеосский софист предпочитал меткие, лаконичные фразы, а Горгий отстаивал красоту длинных построений и сложных метафор. Этот спор подсказал Продику тему для новой работы, посвященной проблемам языка. В сочинении, озаглавленном «О синонимии», он рассмотрел все известные случаи неправильного употребления слов, не пощадив даже признанных ораторов, вроде Антисфена[[57]](#footnote-57) и Демокрита[[58]](#footnote-58). Собрав воедино все, что он раньше писал о грамматике, Продик сделал подробный анализ употребления близких, но не одинаковых по значению слов. Он чувствовал, что язык таит в себе немало великих тайн, разгадка которых ведет к познанию мира.

К несчастью, Протагор Абдерский не увидел новой книги своего ученика — он погиб во время кораблекрушения.

Теперь Продик чувствовал себя настоящим софистом — софистом по духу и призванию. Потеря любви сильно изменила его характер. Черная мизантропия не позволяла софисту сделаться хорошим наставником: он не любил своих учеников и не вызывал у них уважения. Молодежи Продик предпочитал зрелых и образованных собеседников, способных в полной мере понять дух и метод софистики. А среди них в свое время были и Фукидид[[59]](#footnote-59), и Еврипид. Не желая возиться с юнцами, Продик вскоре вовсе перестал брать учеников.

Куда притягательнее был опасный и пьянящий мир политических интриг, и Продик часто использовал талант софиста, выполняя тайные поручения кеосского правителя.

И все же, оставаясь наедине с собой, посланник с горечью признавал, что душа его навеки осталась за морем.

Промаявшись в разлуке целый год, Продик во что бы то не стало решил вернуть подругу.

Ревнители Абсолютной Истины не раз обвиняли софистов в том, что, доказав один тезис, они тут же берутся доказать прямо противоположный. Продик не видел в этом ничего постыдного. Что стало причиной его горестей? Почему счастье отвернулось от посла? Любимая женщина прокляла его, потому что он не смог защитить ее сына. Что ж, если приемы софистики позволяют убедить вполне разумного человека, что черепаха бегает быстрее зайца, почему бы не попробовать доказать безутешной матери, что человек, погубивший ее сына, ни в чем не виноват?

Загоревшись новой идеей, кеосский софист тотчас же выстроил стратегию предстоящей битвы: нужно убедить Аспазию, что в гибели Перикла виноваты не он, Продик, не судьи, не афинская толпа, а лишь война, которая требует от города все новых бессмысленных жертв.

Набравшись смелости, софист отправил любимой письмо:

*Аспазия, дорогая,*

*Я глубоко сожалею о том, что стал косвенным виновником той беды, что приключилась с твоим сыном. Сожалею тем более сильно, что эти печальные события разрушили нашу дружбу.*

*Еще в Афинах я пытался объясниться, но ты не пожелала меня слушать. Возможно, выслушаешь теперь.*

*Я, как тебе известно, являюсь послом очень маленького государства, крошечного островка в архипелаге Киклады, слишком слабого, чтобы воевать, и оттого вынужденного сохранять нейтралитет. Великие Афины диктуют свои условия: кто не с нами, тот против нас. Когда сражаются могучие державы, маленьким государствам трудно уцелеть. Здравый смысл велит нам не принимать ни одной из сторон. Сначала Афины заставили нас заключить союз, теперь толкают к войне. В такие времена от посла требуются лишь такт и осторожность.*

*Своей мольбой о помощи ты поставила меня в безвыходное положение. Я всей душой жаждал спасти твоего сына, но не сделал этого, чтобы не поставить под удар интересы своего государства. Для Кеоса поссориться с Афинами — все равно, что засунуть голову в пасть льву. Поверь, это был нелегкий выбор, и никогда прежде мне не было так больно.*

*Я бы отдал все на свете, чтобы заслужить прощение и вернуть твою дружбу, которая мне очень дорога.*

*Вечно твой,*

*Продик.*

Ответ пришел через месяц:

*Продику, послу Кеоса, софисту: Твои объяснения немногого стоят, Продик. Ты зря потратил время, играя словами. От письма твоего веет холодом.*

*Тем не менее, я ценю твою искренность и мужество, с которым ты решился писать мне после того, что между нами произошло.*

*Я не забыла тебя.*

*Аспазия.*

Сократ постепенно заменил Антемиону отца. Философ был очень беден, ходил в старом залатанном хитоне, жил в покосившейся лачуге на грязной, кривой улочке, где среди мусорных куч бродила тощая скотина, не имел рабов. Весь город за глаза потешался над Сократом — даже Аристофан ловко высмеял его в своей новой комедии «Облака».

Принять верное решение оказалось нелегко. Антемион высоко ценил достаток и комфорт, охотно следил за собой, обожал тренировки в палестре. Отказываться от привычной жизни очень не хотелось. Уходить из дома было слишком боязно. Между тем, Анит выразился со всей ясностью: или сын идет по его стопам, или выметается на все четыре стороны. Мнение строптивого мальчишки его не интересовало. Антемион не решался открыто перечить отцу. Анит требовал беспрекословного подчинения, без колебаний и сомнений. Сделать собственный выбор означало навсегда лишиться родительской поддержки.

От Сократа ждать помощи не приходилось. Философ упорно отказывался дать Антемиону то, в чем юноша так сильно нуждался: никаких утешений, никакой лжи во спасение, никаких простых решений. Молодому человеку предстояло почувствовать, какие прочные узы соединяют его с родным домом, увидеть, как много значат для него богатство и роскошь, и понять, как мало он в действительности отличается от своего отца. Узнавать правду о самом себе было горько и унизительно. Сократ не стал подталкивать юношу к правильному решению — он всего-навсего заставил его посмотреть правде в глаза. Бежать было некуда. Антемиону предстояло сделать выбор.

Время шло, а юноша никак не мог принять решение. Вместо этого он попытался использовать Сократову систему доказательств, чтобы переубедить отца. Это была чудовищная ошибка. Анит сразу догадался, кто испортил его сына: тут явно не обошлось без козней «афинского овода», который только и знал, что портить жизнь порядочным людям и честным труженикам.

Хорошенько расспросив друзей Антемиона, купец убедился в правоте своего предположения. Тогда он, не мешкая, явился к Сократу и запретил ему приближаться к своему сыну, грозя наглецу всеми мыслимыми карами. Сократ выслушал разгневанного отца с вежливым удивлением. По правде говоря, угрозы Анита не слишком встревожили философа. Он был слишком уродлив, чтобы опасаться увечий, и слишком беден, чтобы дорожить своими пожитками. Взбешенному Аниту оставалось только убраться восвояси, ворча себе поднос проклятия и мечтая о мести.

— Так вот с кого ты берешь пример, с этого ничтожного Сократа? — кричал он сыну. — Хочешь сдохнуть грязным попрошайкой? Ты — позор нашей семьи!

Измученный сомнениями и запуганный отцом Антемион старался пореже бывать дома. Сначала он попытался сблизиться с афинскими ремесленниками, но говорить с неотесанными простолюдинами было решительно не о чем. Тогда юноша стал шататься по улицам, от одной таверны к другой, напиваясь без всякой меры, а домой возвращался за полночь, мертвецки пьяным, чтобы не слышать попреков отца. Чтобы привести сына в чувства, Анит отправил его подмастерьем в дубильню, но мальчишка и не думал подчиняться; при первой возможности он старался улизнуть и отправлялся кутить с друзьями.

Антемион считал себя слишком умным и талантливым, чтобы дубить шкуры или с утра до вечера сидеть в лавке. Юноша мечтал добиться благосклонности муз, но стоило ему приблизиться к легконогим богиням, и они тотчас разбегались прочь.

У Антемиона был друг Аристокл, прозванный Платоном[[60]](#footnote-60). Он жил по соседству, принадлежал к одной из самых именитых афинских семей и считался потомком древнего царя Аттики Кодра[[61]](#footnote-61). Мать Платона Пректиона происходила из рода Дропидов[[62]](#footnote-62), к которому принадлежал сам Солон[[63]](#footnote-63), и дружила с матерью Антемиона. Ее покойный муж Аристион[[64]](#footnote-64) был весьма влиятельным политиком. Ранняя смерть отца оставила в душе Платона горькую печать сиротства, он страдал от одиночества и тем сильнее тянулся к Антемиону.

Молодые люди дружили целых десять лет. Они вместе играли на агоре, когда были детьми, вместе занимались в палестре, вместе пытались писать стихи. Платон неизменно побеждал в борьбе и метании диска. Это был сильный, гордый юноша, веривший в свое высокое предназначение. Он выиграл первые награды в пятнадцать лет и был так широк в плечах, что вполне заслужил свое прозвище[[65]](#footnote-65). Впрочем, со временем Платон забросил спорт и посвятил себя поэзии. Критий[[66]](#footnote-66), дядя юноши, обучал его искусству слагать элегии и гекзаметры, и Платон демонстрировал в обеих дисциплинах блестящие успехи.

Доверчивый Антемион сразу поведал другу о своем знакомстве с великим философом. Это случилось как нельзя кстати, как раз в тот момент, когда Платон, давно превзошедший Крития, искал новый пример для подражания. Таким примером для него стал Сократ. Платону было всего восемнадцать лет, когда он вошел в доверенный круг философа и стал его любимым учеником. Успехи приятеля порядком раздосадовали Антемиона. Лучший друг превратился в соперника. Дело кончилось дракой, из которой Антемион вышел с вывихнутой рукой и твердой решимостью навсегда изгнать Платона из своей жизни.

Антемион принялся топить горести в вине. Он поссорился с друзьями, разочаровал Сократа, потерял доверие собственного отца. Время от времени юноша набирался смелости и стучал в дверь бывшего наставника, но не получал ничего, кроме новых унижений. Отчаявшись, молодой человек снова стал скитаться по кабакам, пока отец силой не заставил его вернуться домой. Анит тревожился не столько о сыне, сколько о собственном добром имени: не хватало еще, чтобы наследник почтенного купца пошел по кривой дорожке.

Мастерские Анита процветали. Он нанял толковых помощников и свел знакомство с весьма влиятельными людьми. Теперь Аниту мало было оставаться просто богатым торговцем; он освоил ораторское искусство, поднаторел в политике и сблизился с самым радикальным крылом афинских демократов. Теперь заветной мечтой купца была должность стратега. После переворота, установившего тиранию Тридцати[[67]](#footnote-67), Аниту вместе с соратниками пришлось отправиться в изгнание. Антемион не пожелал сопровождать отца. Спустя год, изгнанники собрали войско под командованием Фрасибула[[68]](#footnote-68). Анит был одним из тех, кто возглавил поход на Афины и храбро сражался с армией тиранов. Своей отвагой он снискал уважение не только товарищей, но и врагов. Когда тирания пала, Анит освободил пленных и добился амнистии для многих изменников, несмотря на то, что Совет Тридцати присвоил все его имущество.

Анит не позабыл нанесенного Сократом оскорбления и теперь собирался насладиться местью. Собрав многочисленных недругов философа, он начал неторопливо и обстоятельно плести заговор. Тщательно изучив прошлое своего врага, купец узнал, что при Совете Тридцати Сократ оставался в Афинах. А стало быть — сотрудничал с тиранами. Ведь новые правители оставили его в живых, а это, само по себе, могло считаться доказательством вины. К тому же много лет назад среди учеников философа был критик, один из главных сторонников свергнутых злодеев. Собрать улики, позволявшие обвинить Сократа в растлении молодежи, не составило никакого труда. Анит уже предвкушал сладкий миг возмездия. Купец собирался унизить врага, растоптать, осудить и добиться смертного приговора. Приближался час его торжества.

### ГЛАВА XII

Новость за считанные дни облетела все Афины. Слухи передавали из уст в уста со злорадством, облегчением, тревогой, горечью, торжеством, но только не с равнодушием. Сильнее всех они потрясли Аспазию.

Напуганная женщина бросилась к Сократу. Она не забыла, как храбро философ защищал ее сына перед неправедным судом. Теперь друг Аспазии сам попал в беду, и она должна была спасти его.

Сократ грелся на солнышке у порога, не обращая внимания на доносившийся из лачуги плач младенца. Философ был совершенно спокоен, словно ничего в мире его не касалось: ни крики ребенка, ни ворчание жены Ксантиппы, ни предстоящий суд. Аспазия спросила друга, как он намерен построить свою защиту.

— Моя жизнь — вот главный свидетель, — ответил он.

Напрасно Аспазия пыталась доказать, что судьи только посмеются над подобным свидетельством. Сократ не знал за собой никакой вины и твердо верил, что козни врагов обернутся против них самих. Аспазия смотрела на вещи иначе — она хорошо знала Анита и догадывалась о его планах.

— Я не стану тебя обманывать, Сократ. У тебя весьма могущественные недруги. Ты знаешь хотя бы, в чем тебя обвиняют?

— Откуда же мне это знать?

Аспазия присела на скамейку рядом с философом. Помолчала, собираясь с мыслями. Нужно было отыскать правильные и нужные слова, чтобы пробудить Сократа и заставить его бороться. Гетера всей душой хотела спасти друга, а он никак не желал понять, какая страшная беда над ним нависла.

— Послушай, Сократ. Я знаю тебя очень давно и вижу, каков ты есть на самом деле. Но еще я знаю, каковы наши суды, я сама через это прошла. Вспомни, что стало с Протагором и Еврипидом. Ты в смертельной ловушке. Они хотят покончить с тобой. И у них есть доказательства — не важно, что они фальшивые. Пойми, Сократ, обвинения слишком серьезны, судьи как огня боятся измены — чтобы приговорить тебя, хватит и ничтожного подозрения. Ты же видишь, что теперь творится, народ не знает, чего опасаться: хаоса или тирании. Сократ, я кое-что разузнала о твоем деле — там одна политика. Похоже, твои враги твердо решили погубить себя. Им известны все твои слабые стороны, они знают и о Критии, и об Алкивиаде. Одни эти имена приведут в трепет кого угодно. Анит отлично подготовился, и у него надежные связи. Этот негодяй всегда добивается своего. Соберись, пока еще не поздно. Я очень боюсь.

— Все их обвинения — досужие сплетни, Аспазия. На что они надеются?

— Сократ! — Аспазия с трудом сдерживала слезы. — Умоляю, подумай о своей защите!

Философ смотрел на нее растерянно и смущенно. Совладав с собой, Аспазия протянула другу какой-то свиток.

Сократ догадался, что это защитительная речь.

— Пожалуйста, прочти. Я заказала ее оратору Лисию[[69]](#footnote-69).

— Не стоило так себя утруждать, Аспазия.

— Прочти же, во имя богов.

Сократ подчинился. Сначала шли клятвы в верности Афинам, потом страстные заверения в собственной невиновности, но особенно удалась заключительная часть:

Афиняне, я никогда не настраивал молодое поколение против священных традиций нашего города. Для всех нас пришло время вновь проверить себя, просить у богов мира и благоденствия и, призвав нам в помощь дух Перикла, возродить былое величие. Я люблю Афины столь сильно, что покидал их всего один раз, чтобы встретиться с нашими врагами на поле боя. Я никогда не ставил под сомнение устои нашего полиса, напротив — я всеми силами старался наставить молодых на путь добродетели и служения нашему великому городу, и это дает мне право рассчитывать на справедливость и милосердие суда. Судьи, вы выслушали мою речь. Я никогда не лгал, не лгу и сейчас. Я прошу не за себя. Моя семья страдает от этих несправедливых обвинений куда сильнее, чем я, старик, проживший долгую жизнь. Верните мне доброе имя ради моих детей, ведь самый младший из них — несмышленый младенец. Принимая во внимание все, сказанное мною, рассудите, заслужил ли я такой позор перед лицом города Афины Паллады, мудрой и справедливой, но страшной в гневе своем и беспощадной к настоящим предателям, — самого прекрасного города из всех, что были когда-либо построены человеком.

Пока Сократ читал, Аспазия не спускала с него глаз. Она смотрела на друга с тревогой и надеждой, боясь, что он оттолкнет протянутую руку и не примет помощи.

— Ну, что скажешь?

— Что ж, весьма изысканно, трогательно, даже убедительно. Все это очень мило, Аспазия, но защищать себя я буду сам.

Такова была Сократова манера разругать чужую речь: «убедительно» на его языке означало «фальшиво», а «трогательно» — «глупо». Именно этого Аспазия и боялась.

Женщина взяла Сократа за плечи и повернула к себе: у философа не было привычки прятать глаза.

— Выслушай меня, Сократ, не упрямься. Мы, твои друзья, прекрасно знаем, что ты невиновен, но этого недостаточно. В этом еще нужно убедить судей. А они скорее поверят твоим врагам. Не обманывай себя. Придется драться. Стать сильнее обвинителей, убедительнее, тверже. От этой несчастной речи зависит твоя жизнь.

— Я не Продик, чтобы прибегать к подлым уловкам.

— Уловкам? — возмутилась Аспазия. Она вскочила на ноги и принялась расхаживать по двору, стараясь взять себя в руки. Как можно быть таким упрямым! Немного успокоившись, женщина вновь опустилась на скамью рядом с философом и заговорила так мягко и ласково, как только могла: — Сократ. Пожалуйста, Сократ, ты просто не понимаешь, послушай меня и хорошенько подумай над моими словами. Если на себя ты махнул рукой, вспомни о детях. Я не прошу тебя лгать и клеветать, я лишь хочу, чтобы ты выбрал правильный способ защиты и подготовился к суду. Знаешь, сколько жизней спасли речи Лисия? Доверься ему.

— Если хорошая речь может убедить судей в том, что невиновный виновен, а виновный невиновен, значит, бывает и наоборот: нельзя сводить правосудие к упражнениям в красноречии.

— Ох, Сократ, какой прок от твоей честности! Суд совсем не то место, где нужно искать справедливость. Истина, которой ты служишь, — всего лишь химера. Взгляни же правде в глаза!

— Я всю жизнь защищаю то, во что верю, Аспазия. Не проси меня предать эту веру, чтобы спасти свою шкуру.

— Я понимаю, о чем ты. Ты всегда презирал софистов, не щадил даже Протагора и Продика. Но ведь речь идет о жизни и смерти. Нравится тебе или нет, но в основе нашей судебной системы лежит риторика. По-другому просто не бывает. Где взять столь надежные улики, чтобы отпала надобность в словах? Правда похожа на рыбешку со скользкой чешуей. Ее нельзя поймать руками, сколько ни пытайся.

— Милая Аспазия, ты совершенно права, но, как тебе известно, я никогда не мог похвастаться рассудительностью.

Аспазия поняла, что Сократ давно принял решение и продолжает разговор только из страха обидеть гостью. Женщина чуть не плакала от гнева и бессилия; она слишком сильно любила своего друга, чтобы бросить его в смертельной западне. Сократ рискнул всем, чтобы спасти сына Аспазии, и больше всего на свете она хотела бы отплатить ему тем же. Но что сделано, то сделано. Сократ привык жить по принципам своей философии. Им он не изменил бы и перед лицом смерти. А значит, их битва была проиграна заранее.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА XIII

С выдающегося далеко в море Кеосского мыса открывался вид на треугольные паруса рыбацких суденышек. От зноя над синей гладью повисла сероватая дымка. Вилла правителя, укрытая от неласкового зефира зубастой горной цепью, располагалась на вершине поросшего оливами холма, у подножия которого лежала Юлида. По склону холма тянулась широкая извилистая дорога. Виллу охраняло каменное изваяние льва — память о древней легенде, гласившей, что когда-то на острове жили нимфы, но среди холмов завелся огромный свирепый хищник, и красавицам пришлось бежать на Эвбею. В отсутствие нимф жизнь на Кеосе текла неспешно и скучновато, а нехватку ярких идей и великих произведений восполняли запасы серебра, меди и обсидиана. Козы задумчиво щипали траву на горных склонах, пряно пахли цветы олеандра, кусты чертополоха мирно соседствовали с алыми островками маков.

Продик карабкался по косогору, то и дело вытирая со лба пот. Жаркое солнце дремало над верхушками сосен. Софист шел так медленно, что ему самому порой казалось, будто он топчется на месте. Продик дожил до шестьдесят шестой весны и терпеть не мог делать над собой усилия, хотя его лекарь не уставал повторять, что в таком возрасте каждый шаг — это лишняя минута жизни. Время близилось к полудню, наступало самое пекло.

Невесомые облачка совсем не давали тени. Чем выше поднимался Продик, тем слышнее становился шум моря, сильнее пахло солью и водорослями.

Минуло семь лет с тех пор, как софист узнал, что, промолчав, можно сделаться убийцей. Продик шел на аудиенцию к правителю Кеоса и по дороге старательно репетировал смиренное и почтительное выражение лица, подобающее моменту. У ворот виллы он остановился немного передохнуть и прислонился к прохладной каменной стене, щурясь под беспощадными солнечными лучами. Наполненный ароматом жимолости сад дремал, завернувшись в полуденную дымку. Рабыня Алькиппа доставала из колодца воду. Продик небрежно поздоровался. Служанка бросила на него беглый взгляд и тут же отвела глаза. Софист помнил те дни, когда она была стройной козочкой с пропахшей оливками кожей, а он, беспечный юнец, все норовил прижать ее где-нибудь у стены. Они взрослели и старели бок о бок, вместе с немыми свидетелями их тайных свиданий — камнями и маковым полем. Теперь обоих согнули старость и невзгоды.

Продик пересек двор и в сопровождении стражника начал подниматься по сумрачной лестнице, ведущей в зал приемов. Посол знал, что правитель пустит в ход все известные ему уловки и хитрости, всю силу своего убеждения, чтобы убедить друга не оставлять пост. Он откроет ларцы и начнет соблазнять Продика золотом и драгоценными камнями, военными трофеями и подарками с окрестных островов. Станет жаловаться на нехватку подходящих людей, ссылаться на сложное положение, в котором оказался Кеос, нахваливать дипломатический талант софиста, и кто знает, что еще.

Только изощренная дипломатия позволила крошечному островку пережить длинную череду войн и катастроф; много лет подряд Кеос наводняли беженцы, грабили пираты, осаждали варвары, но теперь, кажется, воцарился мир — мир в самом сердце бури, и Продик, смертельно уставший от политических битв, решил посвятить остатки дней своей философии. Хватит с него успехов на поприще дипломатии.

Вслед за двумя смуглыми рабами-нубийцами софист проковылял по неровным каменным плитам в зал приемов. Правитель острова склонился над заваленным свитками столом и, рискуя столкнуть огромные напольные амфоры, самозабвенно изучал карту. Увидев Продика, он тотчас отослал рабов и сам проводил гостя к удобной широкой лежанке. Анаксандр был на пятнадцать лет моложе своего посла, но время обошлось с ним куда более жестоко. Правителю приходилось скрывать лысину под пышным седым париком. Его льняные одежды украшала богатая вышивка.

— Мне передали, что ты хочешь меня видеть, — почтительно произнес Продик.

— Афинский посланник, который, между нами говоря, весьма смахивает на евнуха, привез вот это. — Анаксандр взял со стола большой свиток и принялся внимательно рассматривать его, словно невиданную диковинку. — Я сначала решил, это книга, а оказалось — письмо. Довольно длинное. А знаешь, что самое интересное? Это письмо адресовано не мне, а некоему кеосскому посланнику.

Анаксандр наполнил серебряные кубки вином. Сквозь оконные решетки в зал лениво заглядывали полуденные лучи.

— Письмо? — Софист удивленно вскинул бровь.

— И кстати, написанное очень красивым почерком.

Продик отпил из своего кубка. В пути у него сильно пересохло горло.

— Должно быть, автор письма ценит тебя чрезвычайно высоко, — заметил Анаксандр с лукавой улыбкой.

Казаться безучастным Продику было все труднее. Анаксандр протянул было послу свиток, но тут же отдернул руку.

— А что, дружище, не ждешь ли ты случайно какое-нибудь важное послание?

— Я давно уже не жду ничего важного, — покачал головой софист.

— Стало быть, ты не знаешь, от кого оно? Или завел переписку с Афинами втайне от своего правителя?

— Что здесь скрывать? Я и правда понятия не имею, о чем говорится в письме, любезный Анаксандр.

— А я уж подумал, что ты плетешь заговор у меня за спиной, — усмехнулся правитель, передавая Продику свиток.

«Все ясно, — подумал софист. — Наш Анаксандр все никак не привыкнет к мирной жизни и мечтает об отменной политической интриге, чтобы разогреть кровь и дать пишу уму».

Продик развернул письмо, бросил взгляд на подпись и остолбенел. Одно-единственное имя заставило его сердце замереть и затрепетать в мучительной истоме. Больше всего на свете он мечтал получить письмо именно от этого человека. Софист пытался справиться с волнением, но глаза выдавали его. Анаксандр был заинтригован и не скрывал жадного любопытства.

— Какая-нибудь важная персона?

Продик усмехнулся. Настал его черед томить собеседника.

— Очень важная персона, — подтвердил софист.

— Политик?

— Что-то вроде того.

— То есть… Как это вроде того? Ты мне скажешь, в чем дело, или нет? — Правитель начал раздражаться.

— Едва ли.

— Это еще почему?

— Дело в том, что вы хорошо знакомы.

— Вот как? Тогда он и мне мог бы написать. Откуда он, твой друг?

— Из Афин.

— Может, подскажешь?

— Его слава не уступает славе самого Перикла? Правитель часто заморгал: такое случалось, когда он сильно удивлялся или волновался.

— Никто не сравнится с Периклом, по крайней мере, никто из живых.

Продик задумчиво улыбнулся:

— Перикл этого человека тоже очень хорошо знал.

— Правда? — Анаксандр был совершенно сбит с толку. — Друг самого Перикла? Постой, постой… Кто бы это мог быть?

Посол флегматично потирал запястья, с довольным видом поглядывая на Анаксандра и наслаждаясь его растерянностью.

— Этот человек писал для Перикла речи.

— Серьезно? Не только друг Перикла, но и великий оратор? И я с ним знаком? И кто, скажи на милость, поставил меня правителем на этом острове, во имя Зевса?

— Ну же? — подначивал Продик. — Сдаешься?

— Право, ты хочешь, чтобы я отправился в Аид раньше времени.

— Это женщина.

Несколько мгновений правитель смотрел на своего посла, широко разинув рот. Наконец он рассмеялся и звонко хлопнул себя по лысине:

— Аспазия из Милета! Какой же я болван! Как это я сам не догадался?

Продик легонько постучал костяшками пальцев по лысой макушке Анаксандра.

— Я скажу тебе, в чем дело, друг мой. Ты просто не подумал, что речь идет о женщине.

— Вот именно. Кому придет в голову подобная бессмыслица?

— Между тем, женщины — это половина человечества.

Анаксандр рассмеялся, словно услышал забавную шутку, но, наполняя заново кубки, вдруг подумал о своей жене, которая ткала на женской половине.

Продик бережно свернул письмо и поднес к губам, словно целуя написавшую его руку. Правитель разгадал его мысли:

— Даже не вздумай проситься в Афины — ты нужен мне здесь.

Софист сделался серьезным и печальным.

— Прости, мой добрый Анаксандр, но я слагаю с себя обязанности твоего посланника.

— Что ты! — перепугался правитель.

— Я твердо решил. — Выговорив эти слова, Продик почувствовал удивительную, ни с чем не сравнимую, пленительную легкость, доступную лишь малому ребенку, который не знает ни печалей, ни забот.

— Я тебя не отпущу. Твои полномочия пожизненные.

Продик знал, что таится за этими словами: правитель боялся потерять не только преданного слугу, но и надежного друга. Кто еще был способен разобраться во всех хитросплетениях и тонкостях окружавшей остров политики? Пощипывая веточку винограда, софист стал объяснять, что устал от службы и хочет спокойно дожить отведенный срок, размышляя только о приятных вещах.

— Значит, в своей службе ты не видишь ничего приятного? — горько спросил Анаксандр.

— Что будет, если твой верный посол останется на службе? Так и будем мы с тобой сидеть в этом зале, вспоминая старые времена, пока не превратимся в дряхлых, беззубых стариков. Нет, благодарю покорно, я не собираюсь гнить на этом острове, где с последнего извержения вулкана больше ничего не произошло.

Анаксандр поднялся на ноги, и стало видно, что это совсем старик, согбенный и усталый. Теперь он говорил серьезно, с неподдельной горечью:

— А ты подумал о том, каково мне будет без тебя? Кто тебя заменит?

— Всему свое время, Анаксандр. Возможно, и тебе пора на покой.

— И что я буду делать? Сидеть дома с женой, пить вино и ждать смерти? А островом кто править станет?

Продик вяло махнул рукой:

— Брось, это всего лишь тихий островок, крошечный осколок суши, вокруг море, над головой солнце. Он и без нас обойдется.

Обескураженный правитель пожал плечами.

— А ты что будешь делать, Продик? Засядешь за очередную заумную книгу?

— Да уж найду, чем заняться. Одно дело дожить до старости, и совсем другое — превратиться в старика.

Солнце спряталось, и в комнате воцарилась полутьма. На дворе лежала тень. Анаксандр мерил шагами зал, тщетно пытаясь найти подходящие слова. Наконец он остановился напротив Продика и наставил на него указующий перст.

— Я слишком давно тебя знаю, друг мой. Ты из породы перелетных птиц, которые нигде не вьют гнезда. Но ведь ты уже не молод, и, когда наступят холода, тебе придется вернуться. Что ты станешь делать тогда? Запрешься от смерти в своем доме?

Анаксандр решился прибегнуть к последнему средству. Он знал, какой ужас охватывает его друга от одного упоминания о смерти. Но Продик сумел обойти и эту ловушку.

— Нам остается смириться и ждать, — произнес он, махнул рукой на прощание, повернулся и вышел прочь.

Возможно, рассуждал он, чтобы перестать бояться смерти, одна мысль о которой приводит в трепет человеческое существо, нужно постоянно думать о ней, искать слова, чтобы выразить ее, наполнять ею свой мир, чтобы постепенно, шаг за шагом, приучать себя к ее неизбежности. Что если и вправду осесть на острове, гулять по горным тропам, пока не начнут ныть кости, а потом закрыться в доме и потихоньку забывать слова, что были написаны, идеи, что пришли в голову, планы, что были претворены в жизнь. Напоследок каждого из нас ожидает еще одно испытание — быть может, самое трудное из всех.

— Предатель, — донеслось из-за дверей, — ты еще будешь у меня в ногах валяться!

### ГЛАВА XIV

Аспазия Продику Кеосскому: здравствуй. Вот уж семь лет, Продик, от тебя нет вестей. Я не в обиде, но мне очень жаль, что все так вышло. Я писала тебе спустя год, как ты уехал на свой остров, и посланник уверил меня, что письмо мое ты получил. Прошлого не вернуть, но все равно не верится, что ты никогда больше не вернешься в Афины. Разумеется, думать, что ты вернешься ради меня, было бы слишком самонадеянно. Надеюсь, ты пребываешь в добром здоровье. О моем заботится Геродик[[70]](#footnote-70), брат Горгия, и должна признать — он умеет обходиться с женщинами: у жителей нашего славного города это качество встречается довольно редко. Лекарь нашел у меня сердечную недостаточность и хрупкость костей вдобавок и прописал полный покой. Лечиться на редкость тоскливо, но я согласилась посидеть дома, чтобы не расстраивать моего доброго Геродика. Так что теперь появилось время написать тебе длинное письмо.

Афинам выпали непростые времена. Вот уже который год мы пожинаем горькие плоды своего поражения, И дело не только в потонувших кораблях, вычерпанных шахтах, разрушенных стенах, разграбленных сокровищницах, потерянных торговых путях и сожженных амбарах; народ утратил перу в себя, разочаровался в демократии, внутри каждого из нас поселился страх. Прежде враги, будь то спартанцы, персы, или кочевники-варвары, всегда приходили извне. Мы, афиняне, оставались единством избранных. Разве могли мы представить, что проиграем войну, переживем тиранию и, в конце концов, станем второй Спартой? Сейчас наша демократия возвращается к жизни, но пока она слишком слаба, и боюсь, народ уже не поверит в нее после стольких лет войны, гонений и казней. О Перикле давно позабыли. Наш город очень болен. В нем правят бедность, несправедливость и неравенство. Мы проиграли войну и теперь можем проиграть мир.

Ты знаешь, Продик, как важен для государства сильный и мудрый правитель, способный выбрать верный курс и повести за собой народ. Нынешняя демократия наследует эпохе тирании и потрясений. Афинами управляет страх перед новыми бедствиями. Вместо того чтобы строить мирную жизнь, мы тратим силы на борьбу с мнимыми врагами. Народ растерян. Политикам никто не верит. Традиции в забвении. Люди боятся друг друга и самих себя.

Несколько месяцев назад умер Алкивиад, единственный человек, который был способен возглавить заговор аристократов. Алкмеонид был как раз тем вожаком, которого так не хватает врагам демократии. С его смертью афиняне смогли перевести дух: больше не осталось подлинных героев, ни настоящих злодеев. Однако на самом деле ничего не изменилось. По-прежнему процветают доносчики, клеветники, самозванцы, трусы, все горожане, как один, боятся заговоров, каждый по отдельности боится прослыть заговорщиком, а ловкие дельцы наживаются на наших страхах.

Недавно жертвой клеветы стал Сократ. Жаль, что именно мне приходится сообщать тебе эту горькую весть. По приговору суда, он должен выпить чашу цикуты. Это был самый нелепый и несправедливый процесс из всех, что мне приходилось видеть. Хуже, чем суд над Софоклом. Хуже, чем процессы Еврипида и Фидия. Хуже, чем тот, что осудил Про-тагора. Мы до сих пор не можем понять, как такое могло произойти. Ты, должно быть, слышал, что новые власти не стали преследовать приспешников тирании. Мы надеялись, что этот шаг приблизит наступление мира. Нам хотелось поскорее перевернуть черную страницу истории нашего города. Исправить прежние ошибки и вернуть Афинам утраченное достоинство. Однако нынешние правители первыми нарушили собственный закон, чтобы осудить на смерть честного человека, посвятившего жизнь поискам истины. Это был чудовищно несправедливый процесс. Сократ пытался защищать себя сам.

Виной всему наша разобщенность и трусость. Мы совершили страшную ошибку, которая дорого обойдется и нам, и нашим потомкам. Сегодня на Делос отплывает корабль с подношениями Аполлону, хотя я уже не верю, что боги смилостивятся над нашим бедным городом. Сократ сейчас в тюрьме, он должен будет выпить яд, как только жрецы вернутся с Делоса. Судьи и вправду надеются, что его смерть спасет Афины от большой беды, но все станет только хуже: стоит отрубить гидре голову, и на ее месте вырастут три новых. И виноватых искать бесполезно. Весь город виноват.

По моему мнению (и мне будет очень интересно узнать твое), Сократ задел самое болезненное чувство афинян — гордость. Он заставлял человека встать на путь сомнения и приводил его на встречу с самим собой: слабым, нечестным, избалованным. Многих это оскорбляло. Главное правило риторики велит не касаться личности оппонента, но Сократ постоянно его нарушал.

На суде он вел себя так, словно не понимал, в чем его обвиняют. Сократ отказался прочесть отличную речь, которую по моей просьбе написал Лисий, и пытался защищаться самостоятельно. Его прямота лишь разозлила судей. А то, что он выкинул в конце процесса, вообще не поддается никаким объяснениям. Вместо того, чтобы просить о смягчении приговора и замене смерти вечным изгнанием, Сократ заявил, что самым справедливым «наказанием» для него будет пожизненное заточение во дворце для олимпиоников[[71]](#footnote-71) в Пританее.

Я так и не поняла, что он хотел этим сказать. Безусловно, в его словах были не только сарказм и презрение, как показалось судьям. То была не шутка, нет, Сократ говорил серьезно, но что он хотел сказать? Понимал ли он, что подобное высокомерие может стоить ему жизни? Если да, то он просто самоубийца. Возможно, Сократ предпочел смерть изгнанию, или решил просто не унижать себя на старости лет просьбой о помиловании. Хотела бы я знать, что думаешь об этом ты.

И вот еще что: я узнала, что друзья Сократа решили помочь ему бежать. Казнь философа отложили на двадцать пять дней, до конца делийского празднества. Так что у заговорщиков было достаточно времени. Они даже подкупили тюремщиков. Но Сократ отказался покидать темницу: он заявил, что бежать — значит признать свою вину. Понимаешь, он отверг любую возможность спастись. Близкие Сократа, которые навещают его в тюрьме каждый день, говорят, что он спокоен, все время что-то напевает и нисколько не тревожится о собственной участи. Через три дня он умрет.

Умрет позорной смертью, оставленный всеми, кроме немногих близких друзей, и будет похоронен в безымянной могиле. Я хотела бы сочинить ему достойную эпитафию, но никак не найду подходящих слов. Возможно, ты мне что-нибудь подскажешь.

С этим судом как-то связано еще одно несчастье. Три дня назад, на рассвете, в одном из покоев «Милезии» нашли мертвым Анита. Он, как тебе известно, был очень влиятельным человеком, борцом против тридцати тиранов и кандидатом в стратеги; а еще он был главным обвинителем на процессе Сократа.

Как ты, наверное, слышал, правители пришли в бешенство, а по городу тотчас поползли слухи о новом заговоре аристократов. Меня самую и всех моих гетер таскали на Ареопаг, обвиняли в самых кошмарных преступлениях и страшно унижали. Мое доброе имя запятнано. Старые ареопагиты всегда косо смотрели на «Милезню». а теперь у них появился прекрасный предлог, чтобы ее закрыть. Они так и сделают, если я не выдам виновного, а расследование убийства, между тем, зашло в тупик. Говорят, что в «Милезии» и мышь не пробежит без моего ведома. Кажется, они решили свалить все на меня, вместо того чтобы искать настоящего убийцу. Какая низость!

Если дом свиданий закроют, я потеряю все. Это дело всей моей жизни, и я должна его спасти.

Письмо к тебе помогло мне скоротать дни в заточении. Теперь мне гораздо лучше. Но если бы ты знал, как пуст мой дом, как я скучаю по старым друзьям. Афины потеряли своих лучших сынов. А остались одни воспоминания. Приезжай поскорей.

Я никогда не забывала о тебе.

Твоя Аспазия.

### ГЛАВА XV

Судебный совет Ареопага, заседавший на невысоком холме к западу от Акрополя, разбирал тяжкие преступления. В него входили старейшие аристократы, которые управляли Афинами, пока Перикл не передал весомую часть их полномочий Народной ассамблее и Совету Четырехсот[[72]](#footnote-72). Теперь на холме выносили приговоры самым опасным преступникам.

Когда Анита нашли мертвым, в Афинах стали шептаться о новом заговоре. Члены Коллегии стратегов, в которую убитый в скором времени должен был войти, поспешили объявить, что демократия в большой опасности. Влиятельные друзья Анита жаждали возмездия и торопили судей.

Следствие началось весьма бодро, но вскоре потонуло в бесконечных допросах: многочисленные подозреваемые, в которые, не долго думая, записали всех, кто в тот вечер посещал «Милезию», громко возмущались, ныли и жаловались, недоумевали, с каких пор ходить в бордель считается преступлением, но так и не смогли сообщить ничего важного.

Горожане на чем свет стоит поносили медлительный суд и насмехались над дряхлыми архонтами. Досталось и гетерам: говорили, что они покрывают заговорщиков и заманивают мужчин при помощи колдовских чар. Впрочем, слухи только прибавили «Милезии» гостей: сыскалось немало охотников попасть в когти к безжалостным ведьмам и на собственной шкуре ощутить все ужасы небывалого заговора. Одни требовали немедленно закрыть гнездо разврата, другие с не меньшим пылом защищали Аспазию и ее заведение. Яростные политические баталии неуклонно сводились к судьбе «Милезии». В те времена на стене дома свиданий появилась знаменитая надпись, которую приписывали Аристофану:

Старцы-архонты давно позабыли, зачем мужчине нужен член, вот и злятся, что кто-то еще помнит.

Продик знал, что будет означать для города закрытие «Милезии». Гетеры занимали в Афинах не слишком высокое положение; они зарабатывали на жизнь, развлекая мужчин, и существовали в ночном мире, тайном, преступном и презренном, их влияние заканчивалось с наступлением рассвета. И все же «Милезия» была первой, робкой, но убедительной попыткой доказать, что женщина может быть не только рабыней мужа.

Во время войны, когда мужчины по большей части были вдали от дома, гетеры постарались наладить отношения с замужними афинянками, но когда наступил мир, женщины перестали пускать к себе питомиц Аспазии, опасаясь гнева своих мужей.

Спасти дом свиданий мог только Продик. Аспазия в этом не сомневалась: софист был наблюдателен, умен, въедлив, а главное — пошел бы на что угодно ради старой подруги. Несмотря на это, Продик слыл человеком очень осторожным, даже трусоватым, но любопытным. Он обожал всевозможные загадки и справлялся с ними на удивление легко. К тому же Продик был софистом, а значит, умел различать тайный смысл человеческих слов и поступков. В бытность послом он приобрел бессчетное количество полезных знакомств. Теперь, уйдя на покой, Продик, как никогда, нуждался в интересном деле, чтобы прогнать печаль и развеять страхи.

В юности Продик твердо решил следовать за мудрецами прошлого, чтобы укрепить дух и обрести покой. Он хотел достойно встретить старость и без страха взглянуть в лицо смерти. Старость пришла, но смириться с неизбежностью ухода Продик так и не сумел. Всех денег, что он скопил за свою жизнь, не хватило бы на плату за последнюю переправу.

С годами Продик понял, что едва ли перестанет бояться смерти. Путешествие в Афины было для него последней надеждой укрепить свой дух и набраться мужества.

Получив письмо Аспазии, софист тотчас нанял корабль, взяв гребцами команду крепких рабов. Продик собирался в путь, окрыленный новой надеждой. Кораблю предстояло пройти вдоль скалистого берега и обогнуть мыс Сунион со знаменитым храмом Посейдона. Летом там царил полный штиль, однако зимой северный ветер и встречные течения превращали окрестности мыса в сущую преисподнюю. В море бесчинствовали пираты, но утлое суденышко под флагом посольства едва ли могло показаться желанной добычей, и Продик решился путешествовать один. Едва ступив на берег, он собирался поклониться могиле Сократа, который, по словам Аспазии, принял смерть с исключительным мужеством. А софисту мужества как раз и не хватало. Сама мысль о многодневном плавании в открытом море, среди беспощадных волн, вдоль границы мрачного Аида приводила его в ужас. Много лет назад Протагор сказал ему: «Лишь тот, кто провидит свою судьбу, обретает покой. Смерть — твоя сестра, обними ее, погладь ее по волосам, протяни ей руку, ведь она всегда рядом с тобой, от рождения». Метафора Продику понравилась, но толку от нее было мало.

Официально софист считался послом Кеоса в Афинах, но по сути давно уже стал послом Афин на Кеосе. Даже в родном доме он не переставал скучать по роскошному салону Аспазии. Продику не хватало увлекательных бесед и утонченных собеседников: Еврипида, Фидия, Филолая Кротонского[[73]](#footnote-73), математика Феодора[[74]](#footnote-74), Геродота Галикарнасского[[75]](#footnote-75), Горгия… В других городах он ощущал себя чужаком, тосковал, вспоминал Афины и Аспазию. Добровольный изгнанник, он вновь и вновь воскрешал в памяти потемневшие от времени, но по прежнему милые сердцу картины прошлого.

Над притулившимися у берега рыбацкими лодками кружили чайки. Их жалобные крики напоминали детский плач. Белые птицы, казавшиеся издалека удивительно красивыми, совершенными созданиями, на самом деле питались падалью, словно крысы.

Из-за туч, показалось вечернее солнце, и на поверхности моря задрожали серебряные блики. Продик размышлял о своей непонятной и капризной судьбе, вынуждавшей мирного и робкого человека без устали скитаться по свету. Их с Аспазией вели разные пути, которые лишь изредка пересекались, чтобы вскоре разойтись снова. Теперь их толкала друг к другу старость — не слишком удачливая сваха.

Нежданное письмо помогло Продику прогнать прилипчивую старческую тоску. Смерть Сократа означала конец целой эпохи. Предчувствие перемен влекло софиста в Афины. Но куда сильнее ему хотелось вновь увидеть Аспазию: сердце Продика томительно сжималось в предчувствии скорой встречи.

Судя по письму, Аспазия не утратила живого и острого ума, однако Продик понимал: годы едва ли пощадили его подругу. Разлука оказалась слишком долгой. Протагор сгинул где-то в море: говорили, что он утонул во время бури. Еще один удар судьбы. Смерть великого наставника сплотила осиротевших учеников. Софисты Гиппий и Горгий не забывали сообщать Продику последние новости из жизни владелицы «Милезии». Горгий писал, что Аспазия так и не оправилась до конца после смерти сына и второго мужа. Она жила затворницей на своей вилле, мало интересуясь политикой и жизнью города. Женщина разочаровалась в друзьях и перестала устраивать пиры. Горгий опасался, что она пристрастилась к зелью Цирцеи, которое собственноручно готовила из корней мандрагоры. Это жуткое снадобье Аспазия неосмотрительно мешала с вином и сонными порошками, а потом не помнила себя и целыми днями без цели слонялась по комнатам, словно сомнамбула.

Продик понимал, что прежней Аспазии больше нет, и потому боялся новой встречи. Но страх в его душе тесно сплетался с надеждой вернуть счастливые дни.

Погруженный в свои мысли, старик рассеянно глядел, как нос корабля разрезает волны. Благосклонный к путникам Борей раздувал паруса. Весла, подчиняясь размеренному ритму, опускались, быстрым вкрадчивым движением лаская синюю морскую кожу, и снова взмывали вверх, оставляя по бокам корабля две глубокие раны с белыми пенными краями. Продик не узнавал собственной тени, лежавшей на неровной, дрожащей поверхности воды. Он мог быть кем угодно, этот сгорбленный человек на носу. И тень на воде могла принадлежать кому угодно.

### ГЛАВА XVI

Продик помнил, каким был прежде афинский порт: бесконечный ряд остроносых боевых трирем тянулся вдоль берега, сколько хватало глаз. Военный флот, гордость Афин, главная опора государства. У чужеземца, впервые попавшего на знаменитый городской рынок, начинало рябить в глазах от изобилия товаров со всех концов земли: вавилонских ковров, драгоценных камней из Персии и Скифии, кикладского льна, индийских украшений, коринфских благовоний, гиперборейских специй в тростниковых корзинах, косского шелка, амфор с вином, тончайшего полотна, янтаря, лазоревого камня, дорогих тканей с пурпурной каймой… Здесь говорили на десятках языков и расплачивались монетами с совой, символом афинского могущества. Теперь повсюду виднелись раны, оставленные войной. От великого флота остались одни обломки, рыбаки ставили сети прямо в порту, у самого берега, на молу выгружали только мешки с зерном. Чайки делили скудную трапезу, выброшенную волнами на песок: тухлую рыбу, гнилые овощи, зернышки овса. Бойкая торговля переместилась на Делос.

Продик велел рабам дожидаться его на корабле. Ему хотелось пройтись в одиночестве, предаваясь воспоминаниям о смешном старом философе с нелепой козлиной бородой. На путника в черной тунике и широкополой шляпе никто не обращал внимания. Пирей лежал в руинах. Вереницы волов тащили повозки, груженные рыбой и зерном. Стоял гекатомбеон[[76]](#footnote-76), месяц жатвы. Городские бастионы были заброшены, а сады превратились в кладбища. Война не оставила камня на камне. Как же такое могло произойти, как могло великое государство прийти в такой упадок? Продик шел неторопливо, шаркая разношенными сандалиями, и внимательно смотрел по сторонам. На многих могилах не было ни надгробия, ни стелы; лишь безымянные холмики. Кладбище квартала Горшечников выросло на много лиг, захватив окрестные поля и даже лес; повсюду виднелись глиняные надгробия. На месте разрушенных домов стояли убогие шатры из шкур, но квартал уже отстраивался заново: люди таскали камни, месили глину, тесали балки — как могли, восстанавливали свои жилища.

Когда Продик входил в город через Дипилонские ворота, его сердце болезненно сжалось. На пустыре у подножия Акрополя валялись разбитые бюсты тиранов. Миновав рынок, софист погрузился в знакомый шум и толчею квартала Горшечников. Продик спросил у водовоза, который брел по улице с козьими мехами за спиной, где похоронен Сократ. Водовоз пожал плечами.

Немного погодя софист задал тот же вопрос мальчишке, тащившему за собой упиравшегося осла с вязанками хвороста на спине. Паренек лишь почесал в затылке. Софист направился было к старику, который грелся на солнышке на пороге ближайшего дома, но тот наградил чужестранца недоверчивым взглядом. Продик спрашивал снова и снова — кожевника в перепачканном краской переднике, кузнеца… Никто не отвечал. В лучшем случае от софиста нетерпеливо отмахивались, в худшем — неприязненно сверлили взглядами, удивляясь, с чего этот подозрительный чужеземец пристает к каждому встречному с одним и тем же вопросом. Продик не уставал поражаться. Неужто ни один афинянин и вправду не знал, где похоронен самый знаменитый житель города? Как понимать этот заговор молчания?

О смерти Сократа скорбели даже за морем, но соотечественники не спешили посетить его могилу. С такими печальными мыслями Продик добрался до самого центра Афин и оказался на пороге «Милезии».

У входа, на мраморной плите красовалась витиеватая надпись. Продик самодовольно усмехнулся: правилам дома свиданий, которые он придумал и собственноручно начертал на стене много лет назад, были не страшны ни время, ни война, ни дожди:

Добро пожаловать, будь как дома, но помни, что ты в гостях: у нас есть правила, которые тебе придется соблюдать. Запрещается входить к нам пьяным и покидать нас трезвым. Запрещается скандалить. Запрещаются интимные связи между гостями. Запрещается обижать женщин. Запрещается уходить не заплатив. Соблюдай наши правила, и останешься доволен.

Продик толкнул дверь. В сумрачной передней витали запахи прогорклого пота и паленого жира, смешанные с ароматом благовоний и афродизиака. Софист осторожно ступал по мозаичному полу, огибая перевернутые скамейки; повсюду валялись пустые кратеры[[77]](#footnote-77) и винные кубки, скомканная одежда, сандалии, свечные огарки, подушки… С расставленных вдоль стен лежанок свешивались мятые покрывала, в полутьме раздавался переливчатый мужской храп. Какой-то полуголый толстяк растянулся на полу, загородив проход в другую комнату. Продику пришлось слегка пихнуть его ногой. Толстяк мгновенно проснулся, потянулся, встал на ноги и, не обращая ни малейшего внимания на помешавшего ему незнакомца, полез под лежанку за своим хитоном. Он неловко сучил ногами, словно испытывал острое желание помочиться. Пиршественный зал напоминал поле битвы. Двое мертвецки пьяных гостей заснули прямо на сцене, положив под головы кифару и флейту. Гости вповалку спали на украшенном черно-белой мозаикой полу, словно чудом спасшиеся жертвы чудовищной катастрофы. Еще один выживший прикорнул в кресле.

Софист постоял немного, с усмешкой подмечая, как мало изменилась атмосфера дома за время его отсутствия, и хотел было идти дальше, но за спиной у него послышались чьи-то шаги. Продик обернулся. В зал вошла стройная женщина лет тридцати с тонкими и резкими чертами, а за ней темнокожий раб. Пышные волосы гетеры были уложены в замысловатую прическу, в ушах покачивались тяжелые серьги, на точеной белой шее сверкало изумрудное ожерелье, запястья и щиколотки украшали тонкие браслеты. Продик сразу узнал Необулу. Она улыбнулась:

— Добро пожаловать в «Милезию», софист.

### ГЛАВА XVII

Сократа похоронили ночью, чтобы не оскорблять светлых очей Гелиоса видом смерти. Тело вынесли из погребальной палаты и положили на телегу, запряженную мулами. Впереди шла обезумевшая, рыдающая Ксантиппа, следом тянулись немногочисленные друзья философа. Музыки не было — ни один музыкант не решился прийти на похороны. Процессия двигалась в кромешной тьме, освещая себе путь факелами. За гробом, кроме жены и детей Сократа, шли Аспазия, Горгий, Аполлодор[[78]](#footnote-78), Эсхин[[79]](#footnote-79) и Антисфен. Федон[[80]](#footnote-80), Евклид[[81]](#footnote-81) и юный Платон бежали в Мегару, спасаясь от тюрьмы, когда их заговор с целью спасти философа провалился. Тиран Мегары с распростертыми объятиями принимал беглецов от афинской демократии.

Похороны вышли скромные и безмерно печальные. Не было ни плакальщиц, ни надгробных возлияний; друзья тихо прощались со своим учителем, и только Ксантиппа, которая со дня смерти мужа плакала, не переставая, оглашала окрестности жалобными стенаниями. Прощание было недолгим. Антисфен глухо произнес:

— Он жил ради правды и умер за правду. Эсхин был не менее краток:

— Здесь лежит самый мудрый из греков. Аполлодор, по дороге к могиле сотрясавшийся в беззвучных рыданиях, проговорил сквозь слезы:

— Он был лучше всех нас и умер достойно. Смысл его жизни был в том, чтобы так умереть.

Когда скорбная церемония закончилась и друзья покойного разошлись, у могилы осталась только безутешная вдова; там ее и застал Продик. Из груди несчастной с каждым вздохом вырывались переливчатые жалобные стоны, словно у ребенка, который устал плакать и уже не надеется, что кто-нибудь придет на помощь.

Продику сделалось до боли жалко эту грузную, некрасивую сорокалетнюю женщину. Однако, приблизившись к вдове, он тут же невольно отпрянул: от нее исходил застарелый, звериный запах пота.

Ксантиппа подняла на Продика мокрые, красные глаза.

— Ступай домой, добрая женщина, — мягко сказал софист. — Тебе пора отдохнуть и совершить очистительный обряд.

Ксантиппа не отвечала. Двое чужих почти незнакомых людей молча стояли у могилы, а над полем, где среди маков и кустиков акации валялись черепки разбитых амфор, тоскливо завывал ветер. Издалека доносился петушиный крик.

Софист уселся на скамью, положив шляпу на колени.

— Люди рождаются и умирают в одиночестве, — пробормотал он.

Ксантиппа внезапно перестала плакать и повернула к Продику залитое слезами лицо.

— А ты не политик? — Произнося это слово, она содрогнулась от омерзения.

— Почему, добрая женщина?

— Ты так складно говоришь.

— Складно? — Продик не знал, что и сказать.

— Да, складно и важно — так политики говорят.

На вопрос вдовы непременно надо было ответить честно, однако софист, по правде говоря, и сам не знал, политик он или нет.

— От них только и жди беды.

— От кого? — не понял Продик.

— Да от политиков.

Софист поинтересовался, что она имеет в виду. Вдова пропустила вопрос мимо ушей.

— Надо же быть таким дураком, — хлюпала носом Ксантиппа. — А его еще мудрецом называли. Уж сколько я ему говорила: «Держи язык за зубами, не то бед не оберешься, кончай нести свои небылицы, ведь ты сам же их не понимаешь, не к добру это все».

— Какие небылицы?

— Он все говорил и говорил, все чего-то изучал и познавал, а себя самого защитить не смог. За всю жизнь так и не сказал ничего дельного. Одни глупости. — Ксантиппа тяжело вздыхала и всхлипывала: — Эх, Сократ, Сократ! Ты ведь был бы такой хороший, если б не эта твоя одержимость. Зачем ты морочил голову мальчишкам, зачем задавал им всякие нелепые вопросы? Ну не все ли равно, хорошо или дурно поступают другие — главное, чтоб ты жил в достатке, не голодал и соседи тебя уважали.

Софист улыбнулся. Задумчиво ковыряя пальцами ноги землю, он следил за вереницей гусениц, которые неспешно ползли куда-то по своим делам, старательно выгибая мохнатые спинки.

— Все эти бредни! Он все шатался по гимнасиям[[82]](#footnote-82) и палестрам, высматривал мальчишек, а потом начинал забивать им головы своей ерундой. Лучше бы подумал, чем кормить своих детей. Что же это за горемычная жизнь, всегда одна, мучайся с детьми, заботься о муже, который тебя ни во что не ставит, и все равно одна останешься.

Женщина, шатаясь, встала на ноги. Дернула себя за подбородок, громко всхлипнула, вдохнула утренний воздух, постояла немного и двинулась прочь. Не оборачиваясь, она небрежно махнула софисту рукой. Продик с грустью думал о том, что это было: пророчество мудрой женщины, бессмысленные жалобы обезумевшей от горя вдовы или, возможно, то и другое вместе.

Погруженный в свои мысли, посол смотрел вслед неуклюжей, сутулой женщине. Процессия гусениц неторопливо огибала надгробие. Продик, не нагибаясь, отделил ногой предводителя гусеничьего войска от его подчиненных. Потеряв ориентир, вторая гусеница замешкалась и принялась кружиться на месте, остальные растерянно заметались из стороны в сторону, натыкаясь друг на друга, и колонна окончательно сломалась. Продик сжалился и убрал ногу.

### ГЛАВА XVIII

От былой красоты Аспазии остались лишь тонкий стан и выразительные черные глаза. Женщина была очень бледна, словно краски навсегда покинули ее лицо. Друзья бросились навстречу друг другу и крепко обнялись. Прижимая к себе Аспазию, Продик чувствовал, как дрожит под льняной туникой ее хрупкое, тщедушное тело. А может быть, это он сам дрожал.

Немного погодя их повозка, прокатившись по каменистой дороге среди сосен, остановилась у подножия лестницы, ведущей к Пропилеям — главным воротам Акрополя. Аспазия велела рабам дожидаться за стеной крошечного храма Афины-Ники. Пожилая пара стала медленно подниматься по ступенькам; серебряные волосы Аспазии покрывал шелковый шарф, одной рукой она опиралась на перила, другой держала руку Продика. Женщина не могла наглядеться на вновь обретенного друга. Оба молчали, предвкушая бесконечные расспросы и рассказы и не зная, с чего начать. Теперь спешить было некуда.

Продик задыхался от волнения и нежности. Его подруга изменилась и все равно осталась прежней. Волосы Аспазии поседели и больше не вились вокруг лица тугими кольцами, но знакомый аромат, исходивший от ее кожи, бередил давно затянувшиеся раны в душе софиста.

Старик доверял памяти больше, чем глазам. Он не желал признавать, что мечты юности рассеялись, что прекрасный цветок, до которого он хотел и не смел дотянуться, увял навсегда. Летняя пора миновала, и теперь оба они стояли на пороге зимы. Продику было жаль своей несбывшейся любви, а еще сильнее — жаль себя.

Софист никогда не отличался особой выносливостью; обыкновенно, он предпочитал оставаться на месте, если только была возможность никуда не ходить. Продик был таким еще смолоду, а старость и больные кости лишь укрепили эту привычку. Наконец облака сжалились над стариками и ненадолго прикрыли солнце. В воздухе витал запах смолы и лаванды. Друзья старались наверстать упущенные годы, беседуя обо всем, что им довелось пережить. К удивлению Аспазии, оказалось, что Продик так и не женился. Посол предпочел отшутиться, заметив, что женитьба навсегда лишила бы его возможности наслаждаться обществом хорошеньких женщин. Аспазия вежливо улыбнулась и сменила тему.

— По-твоему, старость — это не так уж плохо? — внезапно спросила она.

— То, что мы еще живы, само по себе, неплохо, — усмехнулся Продик.

— И у нас есть наша память.

— Что толку в воспоминаниях?

— Мы с Периклом часто здесь гуляли, — проговорила Аспазия. — Это было наше любимое место. Муж говорил, что со временем другие пары тоже станут приходить сюда, и Акрополь станет местом счастливых супругов.

— Едва ли, — покачал головой софист, — ведь мы не супруги и не слишком-то счастливы.

Друзья с улыбкой переглянулись. Аспазия ласково сжимала руку Продика. Знойный летний день тянулся неторопливо.

— Как тебе город?

— Зрелище, откровенно говоря, довольно печальное.

— Нам приходится начинать заново. Афины ведь тоже постарели. Здесь поселились страх и недоверие. Мы задушили свободу, мы убили Сократа и в результате утратили былую силу и достоинство..

Продик поглубже надвинул свою шляпу, спасаясь от палящих солнечных лучей. Подул сухой ветер — предвестник заката. Рука Аспазии застыла в ладонях Продика, словно замерзший воробышек. Софист представил, как они вместе садятся в лодку и направляются в открытое море, купаясь в солнечном свете. Что ж, лодка у него есть, море близко, да и солнце не заставит себя ждать.

— Я на этом Кеосе едва не умер со скуки. Быть может, у тебя найдется для меня какое-нибудь поручение? Ты ведь намекала в письме.

— На самом деле у меня к тебе целых два поручения. Продик широко улыбнулся. Аспазия продолжала:

— Помоги мне придумать эпитафию для Сократа. Я давно над ней бьюсь, но ничего не выходит.

— Едва ли я с этим справлюсь. Не забывай, я не был в Афинах много лет. Можно сказать, я не в курсе последних событий.

— Поговори с историком Ксенофонтом[[83]](#footnote-83). Они с Сократом были друзьями. Сейчас он пишет хронику войны со Спартой, дописывает за Фукидидом с того места, до которого тот дошел перед смертью. Это очень большая ответственность.

— Я слышал о Ксенофонте. А почему бы тебе не попросить его самого? Он сочинит хвалебную эпитафию без всякого потайного смысла.

— Наверное. Но рискну предложить это тебе.

— Боюсь, я тебя не понимаю.

— Подарив мне свою книгу о Протагоре — я до сих пор ее храню, — ты сказал, что размышления над рукописью важнее самого результата.

Продик кивнул. Теперь он понимал.

— И потом, кто сможет составить надгробное слово лучше вас, софистов, — усмехнулась женщина, — со всеми этими вашими «парадоксами».

Несмотря на уговоры и лесть, Продику не хотелось браться за эпитафию. На самом деле он никогда не считал себя великим оратором. Идея у софиста была всего одна, притом не самая удачная: «Здесь лежит Сократ: теперь он познал истину».

Аспазия задумалась на минуту, а потом сказала, что в этих словах как нельзя лучше отражен образ мысли софиста.

— Ты пользуешься тем, что покойный не сможет тебе ответить, — заметила она едко.

— А я бы не удивился, вернись он из Аида, чтобы со мной поспорить.

Аспазия поморщилась. Продик понял, что наговорил лишнего. К чему расстраивать подругу?

— Но эпитафия не так уж плоха. Пожалуй, ее стоит приберечь для моего собственного надгробия. «Здесь лежит Продик. Наконец-то он обрел истину».

— Ты всегда был несправедлив к нему. Даже сейчас. Разговор принимал весьма опасный оборот. Аспазия готова была сжечь корабли с яростью спартанского флотоводца. Между старыми друзьями было слишком много невысказанных обид, способных разрушить вновь обретенную близость.

— Я смотрю, годы пощадили твою память, — вздохнул софист.

— Не будем об этом.

— И вправду не стоит, — согласился Продик.

— Вот именно. Больше об этом ни слова.

— Давай на спор: попробуй не думать о большом голубом слоне, который плещется в луже.

— Хорошо. — Она прикрыла глаза. — Я не думаю о большом голубом слоне, который плещется в луже!

— А вот и нет: думаешь. Аспазия тихонько рассмеялась.

— Раз уж мы об этом заговорили, почему бы не выяснить все до конца? Я потеряла сына — такое забыть невозможно. Хотя я, наверное, и вправду была тогда с тобой слишком сурова.

— Вот именно.

— Но ты сам виноват. Ты обманул меня.

— Мой поступок обошелся нам очень дорого, — покаянно произнес Продик. — Бывают ошибки, способные сломать человеку всю жизнь.

Аспазия молча глядела вдаль.

— Кроме того, — продолжал Продик, обняв ее за плечи и повернув к себе, — мы не были предназначены друг другу, Аспазия. Мне было не под силу сделать тебя счастливой.

— Ты любил меня. Но так и не решился признаться.

— Откуда ты знаешь, что я тебя любил? Сердце женщины внезапно пронзила печаль. Она хотела что-то сказать, но горло сдавили рыдания. Продик видел, что творится с его подругой, и не находил слов, чтобы ее утешить. Приходилось хранить молчание.

Аспазия закрыла лицо руками и медленно побрела прочь.

Солнце уже успело закатиться за линию горизонта, напоследок окрасив небо пурпурным цветом. Аспазия из Милета уселась у надежной прохладной стены Парфенона. Заглядывая себе в душу, женщина понимала, что ничего не может простить. Рана по-прежнему болела и кровоточила.

Здесь, среди парфянских фризов, Аспазия с грустью вспоминала о тех днях, когда Фидий познакомил ее с будущим мужем. Перикл сказал как-то раз:

— Фидий, ты понимаешь, что этот храм должен стать воплощением красоты и совершенства великой Афины?

— Дружище, — рассмеялся Фидий, — ты, видно, забыл, что я не верю в богов.

— Я тоже, но это не важно. Тот, кто увидит наш храм, в них поверит. А для нас он будет знаком того, что человек и без помощи богов может творить историю.

Фидий, отшельник Фидий. Вот здесь, на фризе — его автопортрет: грустный, плешивый старик. С какой горькой насмешкой глядит он на живых со своей стены. Аспазии отчего-то сделалось страшно. Она принялась нервно озираться, ища глазами Продика. Женщину сковал страшный холод, ей казалось, что призраки прошлого обступают ее со всех сторон. Аспазии захотелось немедленно поговорить с софистом: она почти не сомневалась, что ее друг чувствует то же самое.

Пока Аспазия отдыхала у стены храма, Продик смотрел с вершины холма на город. С высоты Акрополя Афины казались хаотическим нагромождением домов и лачуг, небрежной россыпью грязно-серых строений, среди которых, словно муравьи, сновали люди. Чудовищный лабиринт улиц, улочек и переулков раскинулся без всякого плана, без намека на логику, и только Панафейская дорога разрезала город на две части, по диагонали от Дипилонских ворот до Акрополя, оставляя с одной стороны дворцы и храмы, а с другой — лавки и кварталы ремесленников. За городом на много лиг растянулись болота, поля, где уже заколосилась пшеница, и серебристые оливковые рощи.

Кеосский софист подошел к Аспазии и протянул ей руку, но женщина неловко и растерянно ее отстранила.

— Не волнуйся, я все понимаю. Я придумаю другую эпитафию.

— Знаешь, я передумала. Лучше попрошу кого-нибудь другого.

— Я всего лишь старался быть честным с тобой.

— Что ж, у тебя получилось, — признала она с грустной улыбкой.

На этот раз Аспазия не стала отталкивать протянутую руку. Друзья молча спустились к подножию холма, где ожидали рабы. Первая встреча прошла из ряда вон плохо, и Продик на чем свет стоит ругал себя за это. И все же они снова были вместе. Повозка свернула к дому. Аспазия поправила волосы, окинула Продика задумчивым взглядом и вдруг робко, примирительно улыбнулась. У нее было для софиста еще одно поручение. Продику предстояло найти убийцу Анита — человека, который обвинил Сократа и заставил его выпить цикуту. Софисту и самому не терпелось приступить к расследованию. Он надеялся, что изысканное умственное упражнение поможет ему хотя бы на время прогнать мрачные мысли о смерти.

### ГЛАВА XIX

Продик и Аспазия завтракали в сумрачной, но уютной комнате, заставленной мягкими лежанками. Софист любил тихие утренние часы. Он привык начинать день с неторопливых, приятных размышлений. Суету и спешку Продик считал главными врагами человеческого рода. Аспазия, напротив, терпеть не могла лениться. Два совсем разных характера. Могли бы они ужиться? Кто знает…

Аспазия одевалась в простую и удобную черную кимберию[[84]](#footnote-84) и слегка подкрашивала огромные черные глаза. Продик не уставал любоваться своей подругой. Женщина пребывала в отличном расположении духа и не давала гостю скучать. Она то и дело советовалась с Продиком, полагаясь на его вкус во всем — от перестановки мебели до выбора пояса, подходящего к тунике. Она придумывала для гостя все новые дела, а он был безмерно счастлив во всем угождать хозяйке.

Рабы подали на стол молоко, хлеб, сыр, пироги с кунжутом и удалились бесшумной муравьиной вереницей. Беседа текла непринужденно и весело, и Продик готов был поверить, что Аспазия его простила.

Разговор сам собой зашел о смерти Анита. Софист попросил подругу как можно подробнее рассказать о случившемся.

— У нас мало времени, — заметила Аспазия. — До первой луны пианепсиона[[85]](#footnote-85). Если к тому времени я не назову имя убийцы, «Милезию» закроют.

Продик обдумывал сказанное, прихлебывая молоко. Закрыть «Милезию» было не так уж просто. Дело запросто могло кончиться настоящим бунтом. Аспазия возразила, что тут замешана политика, а в таких случаях народ предпочитает помалкивать.

— Все это затеяли, чтобы заткнуть нам рот, — добавила она. — Для многих мы словно кость в горле.

Продик кивнул. Теперь нужно было выяснить, где и когда произошло убийство, кто нашел труп, кто и когда в последний раз видел Анита живым, сколько времени прошло с момента смерти до обнаружения тела и в какой позе оно лежало.

— Это было ужасно, — начала Аспазия. — Его убили двадцать дней назад. На рассвете ко мне в дом явился стражник и приказал следовать за ним в «Милезию». Филипп, привратник, нашел Анита мертвым в одном из покоев и тут же поднял шум, но, пока я не пришла, труп никто не трогал. Он лежал лицом вверх, а в грудь ему кто-то вонзил кинжал, по самую рукоятку. Прямо в сердце. Руки его были сложены на рукояти ножа, словно он сам себя зарезал.

— А это не могло быть самоубийство?

— Нет, ведь Анит был левшой. На рукояти лежала правая рука, а левая накрывала ее сверху. Левша не стал бы наносить себе удар правой рукой. Скорее всего, преступник хотел изобразить самоубийство, но не слишком в этом преуспел.

— Выходит, убийца не знал, что Анит левша.

— К тому же покончить с собой в доме свиданий, куда приходят поразвлечься… Это как-то дико.

— Что ж, версию самоубийства можно отбросить. Теперь мы знаем о первой ошибке, которую совершил преступник. А тот, кто ошибся один раз, скорее всего, ошибется снова.

— Даже если это так, о других ошибках ничего не известно.

Друзья попытались восстановить картину преступления. Обычно Анит уходил из дома свиданий последним, перед самым закрытием. В ночь своей смерти он, уже порядком захмелевший, по глотку цедил вино в пустом зале. Начинало светать, и большинство гостей разошлось, остались лишь немногие завсегдатаи. Почти все гетеры отправились по домам. В тот час, когда Анита в последний раз видели живым, в «Милезии» оставались четверо посетителей: Аристофан, Диодор[[86]](#footnote-86), Кинезий и сын Анита Антемион, три гетеры: Необула, Тимарета и Хлаис, а еще служанка Эвтила и привратник Филипп.

— Не мог ли кто-нибудь незаметно проникнуть в «Милезию»?

— Наши двери всегда открыты, — ответила Аспазия. — Ты знаешь, у нас только один вход, чтобы сложнее было уйти, не заплатив. Остаются еще окна и дымоход. В общем, мы точно знаем, кто находился в доме в момент убийства.

— Если нам точно известно, кто когда уходил.

— Наш Филипп запоминает всех, кто пришел, и не отходит от дверей. Когда Анита в последний раз видели живым, он собирался уединиться с Необулой. Из гостей оставались только Аристофан, Диодор, Кинезий и сын Анита. Я ушла сразу после Кинезия, а за мной Аристофан. Филипп точно помнит, что, когда он начал обходить комнаты, все уже разошлись, кроме Анита и его сына, но мальчишка, должно быть, как следует напился и по обыкновению заснул в каком-нибудь углу. Обычно его приходилось будить.

— А не мог кто-нибудь прийти пораньше и спрятаться в доме?

— Я доверяю памяти Филиппа. Он потому и служит у нас привратником уже столько лет, что никогда ничего не упускает. Мимо него не проскользнет ни одна живая душа; Филипп встречает гостей, разувает их, прогоняет пьяных. Наш привратник знает свое дело. Если он говорит, что, кроме жертвы, в «Милезии» остались четверо гостей, значит, так оно и было. Даже если предположить, что кто-то спрятался за пологом, Филипп все равно должен был видеть, как он входит; он точно знал бы, что в «Милезии» есть кто-то еще.

— Спрятаться у вас проще простого. Укромных уголков хватает. Убийца вполне мог выждать, пока Филипп побежит за помощью, и спокойно уйти.

— Филипп запомнил всех гостей, которые были у нас той ночью. Их допросили, чтобы проверить слова привратника. Каждый подтвердил слова Филиппа и предоставил надежного свидетеля. Из оставшихся четверых можно исключить Кинезия. Эвтила, Филипп и я видели, как он уходил с Тимаретой. Этого вполне достаточно. Об остальных ничего не могу сказать: я сама вскоре ушла.

— Понятно. А что гетеры и слуги?

— Я их знаю очень давно. Девушек — с самого детства, а Филиппа уже двадцать лет. Никто из них на такое не способен. Вот Необула — другое дело, она сплошная загадка. С этой женщиной мы не то что подруги, но она, можно сказать, моя правая рука. Необула обладает какой-то необъяснимой властью над мужчинами. Она гордость «Милезии» и отлично это знает.

— Ее наверняка допрашивали.

— И не раз, но так ни к чему и не смогли придраться. В момент убийства она была на виду. Мы восстановили события шаг за шагом. Необула была с Анитом, потом пошла в ванную вместе с Хлаис. Тогда Анит был еще жив, Эвтила как раз принесла ему вина. Необула вышла из ванной, столкнувшись в дверях с Эвтилой, и сразу отправилась домой; Филипп видел, как она уходила. Необула спешила, ведь было уже совсем поздно, а Анит остался пить вино в той самой комнате, где возлежал с ней прежде.

— Давай обратимся к четырем основным подозреваемым.

— Аристофана, Диодора и Антемиона никак нельзя назвать жестокими людьми. Аристофан задолжал Аниту кучу денег, целых три тысячи драхм, и тот в последнее время сильно на него давил. Антемион был в ссоре с отцом уже не один год, они даже не разговаривали. Мальчишка приходит к нам не столько развлекаться с гетерами, сколько пить. Он льет в себя вино, словно в бурдюк, пока его держат ноги. А потом засыпает мертвым сном. Анит считал такого сына позором семейства; говорят, он от него отрекся.

— А вот и главный подозреваемый.

— Мы тоже так подумали. Но Антемион был так пьян, что даже головы не мог поднять, не то что совершить убийство.

— Ладно. А что ты можешь сказать о Диодоре?

— Диодор лекарь. Он держит больницу около рыночной площади и, судя по всему, процветает. Человек умный и очень образованный. Впрочем, Тимарета знает его лучше, чем я. Кажется, он был учеником Протагора.

Но по стопам наставника не пошел. Хотя поговорить любит. Женщины сходят по Диодору с ума. Представляешь, он пытался меня соблазнить, пообещав бесплатно удалить больные зубы, пугал страшными болезнями. Давно я так не смеялась. Хотя на самом деле у нашего лекаря нет отбоя от красавиц. Он хорош собой, холост и лучше любого мужа знает, что нравится женщинам. Ты же сознаешь, какую власть имеют над нами врачи. — Аспазия покачала головой и усмехнулась. — Впрочем, в один прекрасный день нашелся охотник пересчитать зубы самому Диодору, и тот сразу потерял интерес к добродетельным женам. В каких отношениях он был с Анитом, неизвестно. Диодор приходит к нам часто, но никогда не задерживается допоздна. Правда, в тот вечер он засиделся. Диодор клянется, что невиновен, Аристофан и Кинезий тоже.

— Следов борьбы в комнате не было, значит, убийца дождался, пока Анит останется один и будет совсем беззащитен, ведь никакой борьбы не было. Это было хорошо продуманное, расчетливое злодейство. Тот, кто его совершил, был отлично осведомлен о порядках в «Милезии». И о привычках Анита.

— И едва ли мог найти для своего черного дела более подходящее место. Анит заснул, лежа на спине. Даже слабая женщина могла вонзить нож в сердце спящему мужчине. Куда труднее скрыться от посторонних глаз в таком месте, как «Милезия». Но пробираться ночью на виллу Анита было бы еще труднее. Не так-то просто проникнуть в дом богача, не поднимая шум. Антемион — настоящий атлет, да и сам Анит мог бы за себя постоять. А в остальное время убитого невозможно было застать врасплох. Он всегда любил шумные компании.

— Иными словами, — подытожил Продик, — подобраться к нему было нелегко.

— Совсем нелегко. Наверное, «Милезия» — единственное место, где убийца смог бы осуществить свой план.

— И все же это очень рискованно. Нельзя быть до конца уверенным, что тебя никто не видел: слишком много народу.

— Наверное, преступник очень сильно ненавидел свою жертву, раз пошел на такой риск, — заметила Аспазия.

— Скорее всего, это месть. Мне показалось, что… — «Что друзья Сократа — стая фанатиков», договорил он про себя.

— Что?

— Что друзья Сократа вполне способны за него расквитаться.

— Не думаю. Чутье мне подсказывает, что нет.

— И все равно это убийство как-то связано с Сократом. Сдается мне, этот след и приведет нас к преступнику.

После завтрака Продик составил план своего расследования: список вопросов, на которые предстояло ответить. Обмакнув заостренную палочку в чернила, софист старательно вывел на листе папируса:

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Кто убил Анита?

ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ: Аристофан. Диодор. Антемион. Необула.

Картина дальнейших действий была вполне ясна: рассматривать четыре гипотезы, исключая подозреваемых, пока убийца не будет обнаружен. Какой подход найти к каждому свидетелю, станет ясно ближе к делу. И все же схема казалась Продику незавершенной. Мало назвать имя преступника. Не менее важно понять его мотивы. Подумав, софист добавил:

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: За что убили Анита?

ПЯТЬ ГИПОТЕЗ: Месть за Сократа.

Политический заговор (враги демократии). Гнев гетеры (преступление по страсти). Деньги (чтобы не возвращать долг).

Теперь софист остался вполне доволен своей схемой. Но чувство, что он упустил что-то важное, все равно не исчезало. Поразмыслив, Продик снова обмакнул палочку в чернильницу и написал:

ВТОРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: Справедливо ли осудили Сократа?

ДВЕ ГИПОТЕЗЫ:

Виновен Анит (ложное обвинение, несправедливый приговор).

Виновен Сократ (правдивое обвинение, справедливый приговор).

Продик решил начать сразу со второго дополнительного вопроса, рассудив, ответ на него поможет определить мотив преступления, а значит — со временем узнать имя убийцы.

### ГЛАВА XX

Над горой Гимет[[87]](#footnote-87) восходило солнце. Граждане Афин собрались на площади, чтобы выбрать судей. Жеребьевка прошла быстро и без происшествий. Народ хранил спокойствие. Когда первые солнечные лучи осветили площадь, уже были известны имена тысячи пятисот выборных.

— Хранил спокойствие? А разве бывает иначе? — удивился Продик.

Ксенофонт понимающе кивнул:

— На самом деле выборы судей редко обходятся без шума, всем угодить невозможно. А судить самого Сократа многие почли бы за честь. Или за великую удачу.

— Обвиняемый насолил слишком многим.

— Вот именно: насолил, — согласился историк. — Однако не настолько, чтобы вызывать всеобщую ненависть. Сократа не любили, но смерти ему не желали.

Разместившиеся на ступенях зрители беспокойно переговаривались, и страже не сразу удалось установить тишину, чтобы глашатай мог совершить очистительный обряд и вместе с архонтом, занявшим место на центральной скамье, вознести молитвы богам. Едва на площади появились главные обвинители Анит, Мелет и Ликон, над трибунами прокатился ропот, а когда двое стражников привели спокойного и сдержанного Сократа, с аккуратно подстриженной седой бородой, закутанного в старый, но чистый плащ из грубой ткани, толпа разразилась криками. Прежде чем сесть на скамью, подсудимый сдернул с нее шерстяную циновку.

— Тогда многие засмеялись, — прокомментировал Ксенофонт. — В этом был весь обвиняемый: презреть удобство и покой, чтобы сосредоточиться на главном.

— И вправду похоже на Сократа, — улыбнулся Продик.

— Да; философ как он есть.

Архонт открыл судебное заседание, объявив, что рассмотрению подлежит дело по обвинению Сократа, сына Софрониска в измене и других преступлениях против полиса. Публике было велено соблюдать порядок и хранить тишину. Нарушителей спокойствия могли выдворить без разговоров. Архонт напомнил судьям об их обязанностях и призвал судить по справедливости. Выносить решения по закону, а в случаях, законом не предусмотренных, полагаться на свою совесть.

Завершив свою речь, архонт предоставил слово обвинению. Анит поднялся на трибуну и окинул судей тяжелым взглядом. Он говорил разумно и веско. Сначала Анит сосредоточился на личных качествах подсудимого. По его словам, Сократ был способным оратором и мыслителем. Прежде никто не мог заподозрить его в растлении юношей. Одни считали Сократа великим мудрецом, другие обыкновенным шарлатаном, но никому и в голову не приходило, что старый чудак может всерьез угрожать устоям государства.

Анит и Мелет рассказали суду о том, как им удалось уличить Сократа в измене. Под маской болтуна-философа скрывался подлый, изощренный ум. Сократу ничего не стоило обмануть собеседника. Он ловко расста&пял сети, заманивал в них зазевавшихся юнцов, развращал их и лишал разума.

Первое выступление обвинителей подошло к концу. Настал черед подсудимого. Сократ неловко взобрался на помост. Держался философ невозмутимо. Казалось, его нисколько не волнуют чудовищные обвинения.

— Афиняне, вы знаете меня и любите истину, а значит, не можете поверить тому, что говорит обо мне этот человек. Мне это все в диковинку. Прежде меня никогда не судили, и я никак не возьму в толк, зачем меня сюда привели, чего от меня хотят, и почему Анит считает меня изменником. Если я правильно понял, мне нужно произнести защитительную речь. В суде такой порядок. Обвинитель назвал меня подлой змеей стало быть, я должен доказывать, что не ползаю по земле, и нет у меня ни чешуи, ни ядовитых зубов. Прежде мне выступать перед судьями не приходилось, и я не знаю, с чего начать. В судебной риторике я не силен, мой конек — диалоги, как верно заметил Анит. Мне нравится разговаривать с людьми. Я говорю простыми словами, теми, что каждый день звучат на агоре. Скрывать мне нечего. Меня можно повстречать в гимнасиях, на улицах, на площадях — везде, где собирается народ. Все вы меня видели, и не раз. Со многими из вас я беседовал. Выходит, я и вас развратил? Призывал вас нарушать традиции, сокрушать устои государства? — Дождавшись, пока воцарится тишина, он продолжал: — Я догадываюсь, что стал жертвой клеветы, как это часто бывает с людьми, привыкшими говорить правду; любой может исказить твои слова, случайно или намеренно, как Анит. Я честный человек и хочу сделать других лучше, свободнее и счастливее. Пусть достойный гражданин Анит докажет свои обвинения, если сможет, а я прошу высокочтимого архонта заменить мою речь диалогом с обвинителем.

Архонт подозвал обвинителей к себе. Посовещавшись, просьбу подсудимого решили удовлетворить. Сократ поблагодарил собрание и передал слово Аниту.

— Поздравляю, Сократ, — начал Анит, — ты был великолепен. Ты лишний раз доказал, что отлично умеешь притворяться дурачком. Я бы назвал это свойство умной простотой, или «Сократовой простотой», если тебе угодно. Что ж, твоя ловкость достойна восхищения. Ты был весьма убедителен. — В толпе послышались смешки, и Анит приосанился. — Однако наш Сократ не так уж простодушен. Он храбро ведет за собой народ к свету истины, бросая на обочине обманутых простаков.

Над трибунами прокатилась новая волна смеха. Архонт призвал к порядку. Не обращая на смешки ни малейшего внимания, Сократ ответил, что Анит и дальше может ломать комедию, если ему хочется. Хотя у Аристофана, сказать по правде, выходит смешней. Философ продолжал:

— Анит, ты приводишь аргументы в меру своих способностей. Не старайся унизить меня в глазах народа, чтобы со мной сравниться, ты и так давно отклонился от истины.

Анит заявил, что подсудимый делает за обвинителей их работу, оскорбляя суд и насмехаясь над ним. Высокомерие, достойное того, кто мечтает свергать правителей и вершить судьбы государства.

На это Сократ ответил:

— С каких пор, любезный Анит, интересоваться политикой преступно? Сам ты разбогател на торговле кожей, а теперь хочешь сделаться стратегом. Ты привык искать выгоду во всем, будь то политика или торговля. Ты из тех, кто не упустит возможности возвыситься за счет маленькой невинной лжи. Но берегись, Анит, здесь тебя слишком хорошо знают. Твои доводы жалки. Ты называешь врагом государства честного человека, который любит свое отечество. Кто поверит, что я изменник? Моя жизнь — вот главное доказательство моей невиновности. Я верю, что судьи не позволят обмануть себя и примут справедливое решение.

— Несомненно, — возразил Анит, обращаясь к суду и поворачиваясь к обвиняемому спиной. — Все не так просто. Никто не обвинит Сократа в стремлении к власти. Наш философ слишком горд и надменен, чтобы иметь дело с презренными людишками вроде нас. Он предпочитает готовить будущих тиранов, оставаясь в тени. Вспомним хотя бы тирана Крития и самого отъявленного врага Афин, Алкивиада. — Теперь Анит обращался прямо к Сократу, вбивая каждое слово, будто гвоздь. — Это были твои ученики, Сократ, и в науке твоей они преуспели.

— Они отточили красноречие, но не обрели ни мудрости, ни воли. В каком-то смысле эти молодые люди так и остались невеждами. Есть тут моя вина? Если я правильно понял, ты полагаешь, что учитель держит ответ за поступки ученика.

— А разве этот не так? — вступил Ликон.

— Это непростой вопрос, Ликон. Ты и вправду полагаешь, что из обучения всегда вырастает понимание?

По трибунам прокатился возмущенный ропот.

— А что же еще из него вырастает? Бобы что ли? — грубо спросил Мелет.

Толпа разразилась хохотом. Сократ спокойно дождался, пока установится порядок.

— Ты привел просто замечательный пример, Мелет. Воспитание действительно во многом подобно земледелию. Но кто возьмется утверждать, что жатва порождает зерно, а курица порождает яйца? Ответь-ка, Мелет.

— Во имя Зевса! Что ты нам голову морочишь? — Обвинитель угрожающе махнул громадным кулаком. — Куры несут яйца, а кто же еще? Нечего выставлять нас дураками!

На трибунах вновь поднялся шум, и архонт раздраженно призвал публику к порядку.

— Как я вижу, мы все согласны, что куры несут яйца, — примирительно сказал Сократ. — Но жатва сама по себе не приносит ни бобов, ни пшеницы. Урожай зависит от дождей и солнца, а результат обучения — от желаний и способностей ученика. Знания есть в каждом из нас. Хороший наставник помогает их освободить.

Анит позеленел от злости, но судьям ответ Сократа пришелся по душе: забавный старик, веселивший публику своими чудными речами, был куда милее хитрого кожевника. Философ продолжал:

— У меня нет и не могло быть учеников, ибо знания нельзя передавать, они живут в каждом из нас изначально. Тот, кто называет меня своим наставников, бесстыдно лжет.

Чаша весов клонилась в пользу обвиняемого, и обвинители стали нервничать. Мелет заявил, что Сократ пытается запутать судей. Вместо того чтобы отвечать на вопросы, он занимается пустопорожней болтовней. А разбирательство, между тем, заходит в тупик. Анит возвысил голос:

— Все помнят, что ты был наставником изменников и тиранов. Все знают, что и сам ты изменник.

Сократ поинтересовался, кому и в чем он изменил. Анит заявил, что обвиняемый не раз насмехался нал афинским судом, говоря, что справедливых судей нельзя выбирать с помощью жребия. А демократию называл мелодией, которую исполняют люди, впервые взявшие в руки кифары и флейты. Сократ ничего не ответил.

— Сколько раз ты говорил, что в Афинах никто, кроме тебя, не обучает политике, — продолжал Анит.

Сократ рассеянно молчал, словно происходящее совсем его не касалось. Когда философ вновь взял слово, он обращался прямо к судьям, и голос его окреп:

— Тот, кто боится слов, потерял разум. Вспомните позорные суды над Еврипидом и Фидием, вспомните флотоводцев, которых приговорили к смерти после крушения при Аргинузах. Я пытался спасти их, но судьи оказались продажными. Прошло время, и Афины ужаснулись содеянному, а тогда меня никто не слушал. И вот теперь меня самого несправедливо обвиняют, не предоставив ни одного доказательства.

— У нас достаточно доказательств, — возразил Анит, — мы точно знаем, что ты учил Крития. И сумеем убедить в этом суд. При тридцати тиранах ты оставался в Афинах, хотя демократов тогда истребляли и лишь немногим удалось бежать. Почему же ты остался в городе? Да потому, что главный тиран Критий был твоим учеником и другом.

На это Сократ ответил:

— Я действительно оставался в Афинах. И Критий, как всем известно, запретил мне вести философские беседы. Он тоже боялся, что я стану совращать молодежь. А теперь именем демократии меня объявили пособником тирании. Почему мои намерения всегда толкуют превратно? Посмотрите на меня хорошенько. Неужели я и вправду похож на злодея-заговорщика, которого боятся и тираны, и демократы?

Философ медленно шагал вдоль трибуны Ассамблеи, внимательно вглядываясь в лицо каждого судьи. Судя по всему, тяжелый процесс ни капли его не утомил.

— Твои ужимки нисколько нас не впечатляют, — заявил Анит. — И слова тоже. Ты так и не объяснил, зачем помогал тиранам. Что Критий запретил тебе учить, всем и так давно известно. Но вот что действительно странно: ты оставался в городе даже после начала казней. — Он окинул взглядом трибуну судей. — Нам всем тяжело вспоминать об этом. Тысяча пятьсот афинян были убиты! Пять тысяч бежали, спасаясь от гнева тиранов! Почему ты не бежал вместе с нами, если ты и вправду верен демократии?

— Я не люблю скрываться. А Крития и его приспешников я не боялся.

— Наконец-то мы услышали правду, Сократ. Действительно, к чему тебе бояться своего лучшего друга Крития? Мне больше нечего добавить.

Анит сел на место, трибуны гудели, словно растревоженный улей, зрители переглядывались, вставали, обменивались репликами. Казалось, что и сам подсудимый осознал наконец всю серьезность своего положения. Сократ долго собирался с мыслями, прежде чем снова заговорить.

— Не пытайтесь запугать меня, Анит, Мелет и Ликон. Вы кружите надо мной, будто стервятники в ожидании добычи. Но все ваши обвинения — не более чем досужие домыслы. Моя жизнь — мой главный свидетель. Я призывал тех, кто слушал меня, не сходить с пути истины добродетели и буду призывать до конца дней моих. Я говорю о добродетели простого ремесленника, и о добродетели правителя, вершащего судьбы мира. Я говорю об истине рыбака или торговца и о той истине, что должна лежать в основе законов государства. Вот о чем я говорю, а вы называете это политикой. Мне не в чем оправдываться, но, коль скоро вы твердо решили меня осудить меня, я не дам приговорить к смерти ни в чем не повинного человека. Если правду стало возможно превратить в ложь, нас ждут страшные времена. Зло не может породить добро, порок — добродетель, а ложь — истину. У Анита есть немало причин желать моей смерти. Мой обвинитель не решается сказать правду: он мстит мне за потерю сына. Вот почему меня называют растлителем молодых. Теперь вы сами видите, что это нечестный суд. Приговорив меня к смерти, вы накажете самих себя. Совершить неправедный поступок куда хуже, чем стать жертвой несправедливости.

Сократ застыл посреди площади, очень прямой, в стоптанных сандалиях, недоверчиво глядя на клепсидру[[88]](#footnote-88), в верхней чаше которой постепенно убывала вода. Теперь он сам судил Афины и выносил им приговор. Скорее всего, Сократ уже провидел свою участь и смирился с ней.

Анит вскочил на ноги и заговорил, обернувшись к трибуне архонта:

— Вы слышали? Теперь он не обвиняемый, а обвинитель! Он, видите ли, хочет вас защитить! Пусть притворяется защитником добродетели сколько угодно, да только слова его полны гордыни и яда. Даже теперь, представ перед судом, он старается задеть нас, высмеять, выставить дураками. Невиданная наглость! Вместо того чтобы защищаться и оправдываться, изменник поучает нас и морочит нам голову пустым вздором. Я верю, что суд по справедливости решит, виновен ли этот человек.

Теперь шумела не только публика, но и сами судьи. Архонт без особой надежды призвал всех сохранять тишину. Сократ заявил, что ему больше нечего сказать. Настало время голосования.

Против Сократа было подано больше половины голосов: двести восемьдесят черных камней против двухсот белых. Будь белых всего на тридцать больше, все обернулось бы иначе.

Судебное разбирательство затянулось до самой ночи. Оставалось лишь назначить наказание. Клепсидру дважды переворачивали. Измученный Сократ поник на своей скамье. Аргументы обеих сторон были давно исчерпаны. Выступление подсудимого не добавило ему сторонников; чему быть, того не миновать. Однако Анит и его приспешники продолжали насмехаться над Сократом и унижать его. В ответ он снова отверг все обвинения, заявил, что прожил добродетельную жизнь, и попросил не о снисхождении, а о… пожизненном содержании. В качестве наказания Сократ попросил заточить его во дворце для олимпиоников на Пританее и держать там за счет полиса. Таким образом он хотел показать, что не признает себя виновным и не намерен уступать обвинителям. Однако судьи сочли эти слова оскорбительным высокомерием.

— Нужно признать, это довольно впечатляюще, — сказал Продик. — Не знаю, чего здесь больше, отваги или беспечности, но эти слова достойны великого человека.

— Попроси Сократ о снисхождении, его, возможно, и пощадили бы. Он сознательно пошел на смерть. Принес себя в жертву. Едва ли я когда-нибудь пойму, зачем.

Разумеется, судьи не утвердили наказания, которое просил для себя обвиняемый. Сократа приговорили к смерти. Все было кончено. Обреченному оставалось лишь последнее слово. Над площадью повисла тягостная тишина. Зрители и судьи не отрываясь смотрели на осужденного. На этот раз Сократ говорил, не поднимаясь с места. Он слишком устал.

— Как видно, вы решили укрепить новую демократию насилием, — сказал Сократ, — казня за инакомыслие. Вами управляет страх, он заставляет вас видеть врага в каждом, кто не похож на других. Моя смерть не спасет Афины. Вы боитесь истины и потому не можете судить по справедливости. Тот, кто ждал от меня мольбы о пощаде, будет разочарован: я не намерен унижаться, признаваясь в преступлениях, которых не совершал.

Я прожил долгую жизнь и не боюсь смерти, но мне горько сознавать, что город, который я люблю, для которого я сделал так много, теперь пожелал убить меня. Сегодня меня признали изменником, но что будет потом… время покажет.

— Великолепная хроника, похвалил Продик, — ты замечательный историк. Правда, кое-что до сих пор не ясно. Ты действительно думаешь, что Сократ решил добровольно принять смерть?

— Мне так показалось. Сократ понял, что его враги оказались сильнее. Опровергать клевету было ниже его достоинства. Ведь Сократа признали виновным заранее. Так был ли смысл просить о снисхождении? Это означало бы признать свою вину, хотя бы отчасти.

— По-моему, — проговорил софист, — первейший долг любого разумного человека состоит в том, чтобы заботиться о собственной жизни, а потом уже о чести, достоинстве и прочих вещах.

Историк был задет за живое, но не подал вида. Откинувшись на ложе, он сказал очень мягко:

— И тем не менее, Сократ до конца сохранил верность самому себе.

— Что это значит — верность самому себе?

— Для Сократа это означало принять наказание, даже несправедливое.

— Я слышал, друзья хотели устроить ему побег.

— Он отказался.

— Что за безумие!

Ксенофонт наградил софиста тяжелым, неприязненным взглядом.

— Я вижу, ты совсем не понимаешь идей Сократа.

— Понимаю, но не разделяю. Я не думаю, что защищаясь от несправедливых обвинений, можно изменить себе. Сократ сам всегда говорил, что люди важнее законов. Человек был центром его мира. Человек и истина. Зачем же он покривил душой, пошел на поводу у толпы?

— Он выпил цикуту из уважения к афинской демократии.

— Из уважения к суду, — поправил Продик. — Сократ не мог не видеть разницы.

Ксенофонт уже не пытался скрыть раздражение. Он нетерпеливо покачал ногой:

— По-твоему, Сократу надо было бежать?

— По-моему, он решил наказать Афины, заставить всех афинян разделить с ним наказание. Сократ вообразил себя кем-то вроде Антигоны[[89]](#footnote-89), трагическим героем, защитником истины. Достойная смерть обеляет нас в глазах истории.

— Сократ был против самоубийств.

— Можешь по-прежнему считать, что его убили. Но он мог спастись. Наш философ понимал, что терпит поражение, потому и выпил цикуту.

Для Ксенофонта эти слова оказались последней каплей. Теперь он смотрел на софиста с нескрываемой враждебностью:

— Правильно вас называют бесчувственными чурбанами.

— Может, да, а может, и нет, как говорил Протагор, — усмехнулся Продик.

— Тогда нам больше не о чем говорить. — Ксенофонт принялся сворачивать рукопись с таким ожесточением, что едва не разорвал ее.

### ГЛАВА XXI

Сливки афинского общества недаром любили бывать в доме Аспазии. Это была просторная, светлая вилла с мягкими, густыми коврами и хранившими прохладу мраморными стенами, каждый уголок которой неизменно сверкал чистотой. В библиотеке хранилось лучшее собрание книг из всех, что Продику доводилось видеть. Кажтый свиток был обернут в льняное полотно для защиты от сырости. Софист знал, что хозяйка дома прочла все эти книги.

Двор, в изящных портиках которого так приятно было скрываться от жары, в вечерние часы наполнялся ароматом вина из погребов, а по утрам — запахом свежего хлеба. По дому сновали ловкие и вышколенные рабы; цирюльники могли аккуратно и быстро подровнять гостю бороду, виночерпии наполняли кубки с безупречной точностью, а главное — все без исключения слуги знали, когда хозяева нуждаются в них и когда им лучше не попадаться на глаза. Порой Продику казалось, что рабы способны предугадывать его желания. Это обстоятельство не переставало удивлять и забавлять софиста. Позвав слугу, он принимался гадать, кто войдет в его покои на этот раз: нубиец с бронзовой кожей или сгорбленная старуха, еще стройной девушкой захваченная в одном из давних походов. Рабы бесшумно передвигались по дому, словно хлопотливые муравьи, лишь с кухни, расположенной на заднем дворе, иногда долетали их голоса и смех. Гребцов, прибывших с Кеоса вместе с гостем, разместили за конюшнями, в постройке для прислуги, и обращались с ними вполне сносно.

Постепенно Продик стал различать слуг по именам и лицам и даже мысленно составил их список. Двое конюхов присматривали за лошадьми, две девушки одевали и причесывали Аспазию, еще были трое юных виночерпиев, смотритель библиотеки, следивший за тем, чтобы у софиста не переводились чернила, папирус и палочки для письма, четверо возчиков, управлявших колесницами, двое гребцов, три поломойки, две кухарки, четверо банщиков, снабжавших гостей полотенцами и мыльным корнем, садовница, две ткачихи, трое сторожей, двое рабов, которые ходили за покупками и наполняли погреба, девушка, которой было поручено чистить серебро, скороход, носивший письма хозяйки и сопровождавший ее повсюду… Всего тридцать девять человек, в основном — скифы, которые всегда оставались в цене на невольничьих рынках, но попадались и беотийцы, фракийцы, фригийцы, армяне, италийцы, и все они превосходно говорили по-гречески. Охранники на родине служили в городской страже и были захвачены на поле боя. Ни один из рабов не казался изможденным и несчастным, все были улыбчивы, услужливы и бодры. Аспа-зия обращалась с прислугой очень мягко, признавая за рабами право на свободное время и развлечения. Слуги гордились и восхищались своей хозяйкой, которая не считала ниже своего достоинства переброситься парой слов с рабом. Многие из них жили в доме Аспазии много лет и служили ей верой и правдой. Хозяйка щедро вознаграждала своих людей за преданность, заботилась о них, а когда кому-нибудь случалось заболеть, посылала за своим личным лекарем.

Все это, а также тишина, покой и предоставленная хозяйкой полная свобода помогали Продику чувствовать себя на вилле какдома. В комнате для гостей софиста ждали пуховая перина и теплое шерстяное одеяло. В его распоряжении были свежая вода в глиняных кувшинах и рукомойнике, отличное вино и сладости. Просторные и тихие покои стали для Продика надежным убежищем от мирских тревог, здесь он чувствовал себя желанным гостем.

Друзья завтракали в саду. Внезапно Аспазия коснулась руки Продика.

— Ксенофонт вчера был в ярости.

— Действительно, — подтвердил Продик, — мне очень жаль. Его разозлило, что я усомнился в виновности Сократа.

— А ты и рад бы его подразнить, не так ли?

— Ну ты ведь меня знаешь.

— Вот именно.

Аспазия смотрела на Продика с укором и почти материнской нежностью. Искусный макияж не мог скрыть ее бледности. Седые волосы Аспазии были стянуты в тугой узел, а ворот туники закрепляла фибула с изображением совы — символа Афин.

— Он замечательный историк, — заметила женщина. — Достойный ученик Фукидида.

— У меня и в мыслях не было его оскорбить. Хроника мне очень пригодилась, хотя я предпочел бы присутствовать на суде, чтобы увидеть все своими глазами. По-моему, это был очень интересный процесс. Определенно, ни на что не похожий.

— Ты, наверное, хотел сказать: чудовищный.

— Разумеется — учитывая, кем был для нас Сократ, и все же, если посмотреть непредвзято, что у нас получится? Любопытно получается: суд, трое обвинителей и один обвиняемый. Обвинители утверждают, что обвиняемый лжет, а обвиняемый называет обвинителей клеветниками. Кто из них говорит правду? Кто виноват?

— Ну хорошо, — запальчиво сказала Аспазия. — Мы знаем, что решили судьи, но это не означает, что они были правы. Они не знали всего.

— Возможно, обвиняемый думал, что говорит правду, а на самом деле лгал, ведь его доводы неубедительны; возможно, обвинители говорили правду, но не из благих побуждений, а ради собственной выгоды или мести.

— Зная Анита, в последнем можно не сомневаться.

— Возможно, обе стороны лгали или что-то скрывали, искажали события и старались оправдать себя, — заметил Продик.

— По-моему, на этом суде был только один лжец. Весьма искусный, должна признать.

— Может быть. Очевидно лишь то, что обвиняемый не сумел переспорить своих обвинителей.

Разговор был прерван появлением Геродика, лекаря Аспазии, посещавшего ее каждое утро. Поднимаясь на ноги, женщина смущенно извинилась перед заметно растерявшимся софистом.

— Не беспокойся, — заметила она, — обычный осмотр.

Болезнь Аспазии была куда серьезнее, чем Продик мог представить. Подруга уверяла его, что речь идет о старческих недомоганиях, докучливых, но безобидных. Женщина то и дело подшучивала над лекарем, прописавшим ей строгую диету на основе молодого вина и кобыльего молока. Чтобы обмануть недуги, она проводила целые дни в хлопотах, придумывая все новые дела, вытаскивала софиста на прогулки, а когда он не мог составить ей компанию, отправлялась гулять в сопровождении рабов или брала с собой гетер из «Милезии». И все же Аспазии не удалось долго держать свою болезнь в секрете. Проницательный софист вскоре догадался, что происходит на самом деле. По утрам виллу все чаще наполняли запахи трав и обезболивающих снадобий, а хозяйка дома выходила к столу очень поздно, и даже косметика не могла скрыть ее мертвенную бледность.

Продик не спешил с расследованием. Он кропотливо составлял описание событий, о которых поведала Аспазия. Софист пытался проследить шаг за шагом последние мгновения жизни Анита от появления в «Милезии», до того момента, как ему, мертвецки пьяному, вонзили в сердце нож. Он тщетно пытался угадать, кого видел убитый в последние мгновения своей жизни, что за видение навек застыло в его зрачках.

Продик успел побеседовать с привратником Филиппом. Это был смуглый, мускулистый человек, закаленный в бесчисленных драках. Филипп никогда не стеснялся вмешаться, если между гостями разгоралась ссора; ему не раз приходилось усмирять задир, а порой и выбрасывать их вон. Расправа привратника с наглецами была у завсегдатаев дома свиданий излюбленным зрелищем. Если один из гостей начинал скандалить, остальные корчили страшные рожи и шипели, сдерживая смех: «Гляди, Филипп идет!» Иногда, желая повеселиться, гости затевали шутливую драку, чтобы атлет появился в зале и под общий хохот схватил зачинщиков. Филипп нисколько не обижался, и сам не прочь был повеселиться. Этот гигант был простодушен, но не настолько, чтобы не отличать настоящую ссору от невинной забавы. В таких случаях он сурово хмурил брови и качал головой, словно предупреждая шутников, что, если им угодно продолжать в том же духе, он вполне может принять их склоку всерьез и выгнать бунтовщиков за порог. Весельчаки предпочитали верить ему на слово и расходились, но кто-нибудь нет-нет, да и повторял, заливаясь смехом: «Глядите! Филипп идет!»

Филипп был из породы добродушных здоровяков, неспособных использовать свою силу во зло. Гетеры все время заигрывали с привратником, называли его своим маленьким силачом, и Филипп был на седьмом небе от счастья. Привратник всегда держал при себе покрытую воском дощечку, на которую он скрупулезно наносил имена вновь прибывших гостей. Когда-то сама Аспазия выучила его читать и писать. Показания Филиппа значили очень много: только он точно знал, кто оставался в «Милезии» в момент убийства. На следующий день Продик поговорил с Тимаретой, Хлаис и служанкой Эвтилой, но все они были вне подозрения.

Расспрашивая свидетелей, Продик старался выяснить, что делали в предутренние часы остававшиеся в доме свиданий гости и гетеры, проверить алиби и выявить противоречия. Сопоставив показания, он сумел составить приблизительное представление о том, что творилось тогда в «Милезии». Анит с Необулой удалились в дальнюю комнату, которую Продик называл про себя «покоями смерти». После Необула зашла в женскую ванную. Это могла подтвердить Эвтила: Необула столкнулась с ней на пороге и приказала отнести Аниту вина. Правда, Аспазия ничего такого не помнила. Эвтила замешкалась у дверей и точно видела, что Необула вошла внутрь. С этого момента гетера все время оставалась на виду. В ванной была только одна дверь, и проникнуть оттуда в покои смерти не было никакой возможности. Служанка налила вина и так уже хмельному и сонному Аниту и тут же вышла из комнаты. Тем временем, Хлаис, намиловавшись с Диодором, тоже отправилась мыться. Женщины перекинулись парой слов, Необула вымылась первой и вскоре покинула ванную. По словам Эвтилы, гетера не спеша собралась и отправилась домой, немного поболтав у входа с Филиппом.

Другими словами, оставив Анита в покоях смерти, живым, как уверяла Эвтила, — Необула больше туда не возвращалась и все время была на виду. Означало ли это, что и она была вне подозрений?

Этот вопрос повлек за собой целых два других: нет ли у Эвтилы и гетер причин покрывать Необулу? И что скажет Аспазия, если узнает, что он подозревает одну из ее воспитанниц? Чтобы ответить на первый вопрос, нужно было расспросить кого-нибудь со стороны — например, завсегдатая «Милезии».

В момент убийства в доме свиданий оставались четверо: Диодор, Аристофан, Кинезий и сын убитого Антеми-он, который спал в главном зале беспробудным пьяным сном. Впрочем, Кинезия смело можно было исключить из списка подозреваемых: Эвтила видела, как он уходил в сопровождении Тимареты. Некоторое время Кинезий и девушка шли рука об руку, потом отправились в разные стороны.

У Диодора и Аристофана никакого алиби не было. Оба могли незаметно пробраться в покои смерти. По словам Диодора, выйдя от гетеры, он скрылся в мужской ванной (хотя свидетелей этого не нашлось). Аристофан утверждал, что много выпил и не помнил, где именно находился в момент убийства, к тому же вино связало комедиографу ноги, и он едва ли мог самостоятельно добраться до отдаленных покоев.

Диодор ушел вскоре после Аристофана. Филипп помог ему открыть дверь. Гость был, по обыкновению, спокоен и немного рассеян. После его ухода привратник начал будить Антемиона: пора было закрывать дом свиданий; мальчишка, как обычно, с трудом продрал глаза. Впрочем, и крепкий сон, и опьянение можно было симулировать. Огрызнувшись на привратника, Антемион с трудом поднялся на ноги и, покачиваясь, вышел на улицу. Тогда Филипп отправился будить Анита и нашел его мертвым. Он тут же бросился за стражей. Светало.

Восстановив события, Продик набросал схему «Милезии» и заново составил план расследования. После недолгих раздумий он вычеркнул из списка подозреваемых Необулу и Кинезия. Теперь этот список выглядел так:

ТРИ ГИПОТЕЗЫ: Аристофан. Диодор. Антемион.

С другой стороны, между убийством Анита и смертью Сократа должна была существовать некая связь. Они были непримиримыми политическими противниками. Анит защищал государство; Сократ прослыл бунтовщиком. Философ отвергал саму идею народного представительства, которую защищал Анит; он не принимал ни ассамблей, ни голосований, ни выборных судей. Сократ мечтал о появлении особой касты политиков, которые станут править, прислушиваясь не к толпе, а философам и мудрецам. Для возрожденной демократии такие идеи и вправду были очень опасны.

В Афинах у Сократа нашлись бы не только единомышленники, но и верные друзья — среди них, скорее всего, и следовало искать убийцу. Таинственный злодей медленно выходил из тени, обретая облик, характер и судьбу.

Анит был одним из столпов новой демократии, построенной на костях таких, как Сократ. По словам свидетелей, Анит не враждовал открыто ни с Диодором, ни с Аристофаном; но политическое противостояние порой бывает не менее острым, чем личная ненависть; возможно, кто-то хотел помешать Аниту сделаться стратегом или навредить всей коллегии. Самый очевидный мотив был у Антемиона, который вполне мог притвориться пьяным, чтобы отвести от себя подозрения в отцеубийстве.

Продик понятия не имел, что думают Аристофан и Диодор о демократии. Об их образе мысли, убеждениях и отношении к Сократу стоило узнать побольше. Нельзя было сбрасывать со счетов и многочисленные долги Аристофана.

Расспрашивать подозреваемых следовало с большой осторожностью, дабы не спугнуть их раньше времени. Чтобы вызвать обоих на откровенность, пришлось бы прикинуться другом Сократа. Чужеземное происхождение могло сыграть на руку Продику: никто не заподозрил бы в нем лазутчика правителей. Главные надежды софист связывал с Аристофаном: в конце концов, они давно знали и уважали друг друга.

### ГЛАВА XXII

Ни один правитель не сумел бы заткнуть ему рот. Его диатрибы, словно стая злобных оводов, жалили демократов, тиранов, полководцев. А он оставался цел и невредим, этот исполин, которого все, скорее, боялись, чем любили. Народ повторял злобные шутки Аристофана из уст в уста, а он сохранял жизнь и свободу, благодаря то ли подлинной демократии, то ли лицемерным властям, желавшим показать, что в Афинах никого не преследуют за инакомыслие.

Любой афинянин больше всего на свете боялся попасть на зубок комедиографу. Хотя, с другой стороны, стать персонажем комедии было даже лестно: попасть в пьесу означало войти в историю. На Олимпе дураков, привыкших гоняться за легкой славой, комедиограф был верховным божеством.

Продик всегда считал Аристофана и Сократа друзьями и не мог понять, зачем комедиографу понадобилось высмеивать философа в давнишней пьесе «Облака». Публика попадала от хохота, когда на сцене появился сам Аристофан, мастерски загримированный под Сократа: с уродливым длинным носом, всклокоченной бородой и безумным взглядом. Он раскачивался в огромной корзине, подвешенной к потолку. Многие утверждали, что в тот день Сократ, сидевший среди зрителей, единственный раз в жизни смеялся. Продик тоже получил свое; один из персонажей комедии говорил: «Из всех небесных философов мы станем слушать только Продика».

И все же Аристофан любил Сократа и никогда этого не скрывал.

Аристофан снимал виллу на Пнисском холме, в дубовой роще. Эта вилла всегда считалась одной из самых роскошных в Афинах. Однако теперь, к немалому удивлению софиста, у нее не оказалось двери. Ее заменяла пара наскоро сбитых досок. Продик не решился стучать, побоявшись разрушить хрупкую конструкцию.

— Аристофан! — закричал он во весь голос.

Комедиограф в отчаянии бился головой о заваленный свитками стол. Шли часы, дни, недели, а его положение оставалось совершенно безнадежным. Аристофан послал своего раба Ксанта узнать, кто пришел. Ксант высунул нос на улицу и тут же возвратился, сообщив хозяину, что пожаловал какой-то незнакомец — на вид вполне безобидный. Аристофан пошел открывать, прихватив на всякий случай тяжелую палку.

Жалкая дверь распахнулась, и перед Продиком возник растрепанный седой гигант с тяжелой палкой наперевес. Из-под косматых бровей мрачно смотрели налитые кровью глаза. Свирепый вид хозяина виллы никак не обещал радушного приема.

— Продик, наш славный софист! — воскликнул Аристофан, стремительно меняясь в лице. Приятели крепко обнялись. Продик слегка поморщился, почуяв исходящий от хозяина винный дух. — Что привело тебя сюда? Ты у нас с официальным визитом? Сколько же лет мы не виделись! А что с твоими волосами? Тоже в белый цвет перекрасился?

Приятели дружно расхохотались. Аристофан смеялся громко и не слишком благопристойно, но весьма заразительно. Он дружески хлопнул Продика по плечу, и софисту показалось, что его старые кости вот-вот превратятся в пыль.

— Я слышал, ты написал замечательную книжку, правда, не знаю, ни о чем она, ни как называется, — сообщил Аристофан. — Я ее, конечно, не читал, ты у нас пишешь слишком уж мудрено и непонятно. Не то что я — мои комедии любой недоумок поймет.

— Надеюсь, я не помешал тебе работать, — вежливо произнес гость.

Раб помог Продику разуться. У слуги было тонкое печальное лицо и глаза умной собаки. Несмотря на чудовищный беспорядок, жилище Аристофана показалось софисту довольно уютным. Изукрашенной фресками передней хозяин провел гостя через внутренний двор, в полупустые покои, где из-за спешной распродажи имущества почти не осталось мебели.

— Помешал работать? Ты оборвал меня, можно сказать, на середине фразы. Впрочем, это пустяки; я начал комедию два месяца назад и все не могу закончить. Жду, что музы нашепчут мне на ушко какую-нибудь скабрезность.

Повсюду валялись испещренные помарками свитки. Аристофан давно научился передвигаться по бумажному морю, не наступая на ценные рукописи. Спертый воздух, скудная обстановка, мохнатая пыль, паутина по углам… Знаки, которые софист мог прочесть без всякого труда, расшифровать ничего не стоило. Здесь жил совсем пропащий человек.

— Хозяин дома собирается вышвырнуть меня на улицу, — признался Аристофан. — Вся мебель принадлежит ему. Я не платил уже несколько месяцев, и ему надоело просить по-хорошему. Я ведь тебя чуть не прибил, думал, что ты один из его молодчиков. Кстати, мне еще ни разу не приходилось драться с софистами. Представляешь, этот болван взял привычку являться по ночам, чтобы изводить меня. Он уже сломал дверь, засыпал колодец, а теперь начал разбирать крышу. Чтобы выгнать меня, несчастный дурак готов разрушить собственный дом!

— Сочувствую. Впрочем, ты мог бы найти жилище подешевле.

— Ну да, известное дело. Но мне нужна вилла, достойная моего положения. Я же у нас знаменитость!

Комедиограф громогласно рассмеялся собственной шутке.

— Очень жаль, — осторожно заметил Продик, — что прославленный автор находится в столь плачевном состоянии.

— Мало того что меня преследуют кредиторы, так я еще, оказывается, убил человека. Разве я не могу расправиться с врагом без помощи ножа? Наши правители — лживые бездари, которые имеют наглость называть свой прогнивший режим демократией, хотя все знают, что это анархия, раздолье для мошенников, доносчиков, воров и трусов.

Продик был склонен больше верить Аспазии: Аристофан слишком много тратил на гетер.

— Меня долго не было в Афинах. Знаю только, что казнили Сократа, — решил он прибегнуть ко лжи.

— Это было подлое судилище. Уж поверь мне. Таких людей, как Сократ, больше нет. Остались одни глупцы и демагоги.

Софист окинул взглядом комнату: разбросанные в беспорядке свитки, поломанные палочки для письма на запыленном столе, огарки свечей, засохшие корки. Картину дополняла настольная модель Олимпа, изображенного в виде дома свиданий с Зевсом-громовержцем, который нашел весьма неожиданное применение своей молнии.

— А это зачем? — поинтересовался Продик со смехом.

— Не вредно все время иметь перед глазами богов, — горделиво пояснил Аристофан.

— Чтобы отличать добро от зла?

— Это краеугольный камень представлений о морали, — провозгласил комедиограф.

У подножия Олимпа замерла в игривой позе муза комедии Талия. У противоположной стены стояла лежанка, на которой Аристофан писал, когда уставал сидеть за столом; рядом стоял маленький столик с пюпитром и подставкой для письменных принадлежностей. Маленькое окошко выходило во внутренний двор, узкая лестница вела наверх, в помещения для рабов (на самом деле у сочинителя был всего один раб). Продик вгляделся в папирус, над которым, по всей видимости, работал Аристофан, но не смог разобрать ни слова.

— Очередная злобная сатира!

— Как же! Заказ.

— Ты пишешь на заказ? — не поверил Продик.

— Меня Аспазия попросила. Она придумала замечательный сюжет: женщины захватывают власть и порабощают мужчин. Что скажешь?

— А почему бы и нет? Я, кажется, знаю место, где царит гинеократия.

— Правда? — озадаченный комедиограф почесал бороду. — Жуткая клоака, должно быть.

— Ты любишь бывать там по вечерам.

На этот раз хохот Аристофана был поистине громоподобным. Софист продолжал:

— По мне, равенство полов наступит не тогда, когда женщины станут править, а когда мужчины начнут менять постель своим впавшим в детство родителям.

— Зевс-громовержец! Надеюсь, это время никогда не наступит.

Продик так и не смог разобрать почерк комедиографа. Аккуратно свернув свиток, он убрал его в чехол.

— И не стыдно тебе писать по заказу, великий насмешник?

Аристофан отобрал у гостя свиток и не глядя забросил его куда-то в угол. Теперь он казался задумчивым:

— Грядут тяжкие времена, но меня голыми руками не возьмешь. Я им не Филиппид[[90]](#footnote-90) какой-нибудь. Выпьешь? — Он протянул софисту кубок. Продик отказался. — Говорят, пьянство до добра не доведет. Но это доброе хиосское вино: ни запаха, ни забытья.

Продик все же отхлебнул из кубка и удивленно прищелкнул языком:

— Надо же! Не разбавлено!

— Разбавлять вино! Что за дикарский обычай! Чем же мы разбавим свою печаль, любезный Продик, если станем разбавлять вино?

Собеседники вышли во двор, и Продик с наслаждением глотнул свежего воздуха. Увидев, что софист рухнул на скамью, Аристофан понимающе кивнул. Появился Ксант с корзиной фиников, оливок и маринованных луковиц. Перед тем как уйти, он обтер гостю и хозяину руки влажным полотенцем.

— А теперь, Продик, расскажи-ка, чем ты сейчас занимаешься.

— Я пишу о Сократе. Но об этом никому ни слова.

— Положись на меня. Я просто ходячее благоразумие.

Оба в который раз рассмеялись.

— Вы были друзьями? — внезапно спросил софист.

— Ты еще спрашиваешь?

— А ты ведь неплохо по нему прошелся в одной своей вещице.

— Это была просто шутка, — ответил Аристофан. — Друзья для того и существуют, чтоб над ними смеяться. Но в глубине души я всегда знал: это великий человек. Они не успокоились, пока не убили его. В конце концов! — Он с силой стукнул кулаком по колену. — Ну ничего, в Аиде всем найдется место. За Аид!

Собеседники сдвинули кубки и выпили, хотя упоминание Аида отнюдь не прибавило Продику хорошего настроения. При взгляде на огромные уши Аристофана ему в голову пришла абсурдная мысль о том, что преисподняя наверняка похожа на огромную глубокую воронку, до дна которой долетает каждый звук из мира живых.

По странному совпадению, комедиограф вновь за говорил о весьма интересных для Продика вещах. Он посоветовал гостю поскорее посетить «Милезию» до того, как ее закроют.

— А почем ты знаешь, что я не сделал этого до сих пор?

— Мы бы там встретились, — заявил комедиограф, — я ни одного вечера не пропускаю.

— Стало быть, ты сможешь порекомендовать мне гетеру.

Польщенный Аристофан обнажил в ухмылке ярко-красные, как у молодого жеребца, десны.

— Разумеется, Необулу! Она хоть и постарше остальных, но равных ей нет, можешь мне поверить.

— Теперь припоминаю: я о ней где-то слышал. У нее еще есть подруга, которая разливает вино, как же ее?..

— Эвтила? Едва ли она хорошо отзывалась о Необуле.

— Не слишком, по правде говоря.

— Они не ладят. На самом деле Необула ни с кем не ладит. Ей все завидуют. Она зарабатывает больше всех, потому что умеет больше других.

— Значит, у нее нет подруг? А как же Хлаис?

— Разве что Аспазия — Необула приносит ей много денег. Хотя едва ли они питают друг к другу особую нежность. Забавное это место, «Милезия»; всеобщая ненависть, соперничество, склоки. Отличная тема для комедии, не находишь? А что происходит потом, когда довольные мужья возвращаются к своим разгневанным женам? Такая пьеса определенно имела бы успех. Но у меня обязательства перед Аспазией.

Продик хотел было что-то спросить, но тут во дворике появился перепуганный Ксант с криком:

— Господин, идут!

— Кто идет?

— Хозяин дома, мой господин! Хозяин и с ним еще люди, у всех дубинки! Они не с добром пришли!

— Так обеспечим им достойный прием! — взревел Аристофан. И, схватив свою палку, ринулся к выходу. Раб бросился за ним, хватая комедиографа за складки хитона:

— Господин, не надо! Берегись!

В первый момент Продик растерялся, но потом все же бросился за Аристофаном, заклиная его проявить благоразумие. Не лучше ли попробовать договориться?

— Договориться? — взревел комедиограф.

В проломе двери появилась чья-то физиономия. Дыра, в которую она просунулась, была столь узкой, что человек едва мог открыть рот. Аристофан замахнулся на пришельца палкой; удара не последовало, однако нарушитель спокойствия резко дернулся, из носа у него хлынула кровь. Воодушевленный успехом комедиограф крикнул, что так будет с каждым, кто посмеет сунуться на виллу.

— Никакой пощады! — орал он что есть мочи, сопровождая крики мощными ударами по хлипким доскам.

Софист решил, что пора убираться подобру-поздорову. Но прежде чем спасать собственную шкуру, следовало позаботиться о бесценных рукописях, которые могли пострадать в предстоящей свалке. Метнувшись в комнату, Продик стал лихорадочно подбирать с пола первые попавшиеся свитки и запихивать их в пустую холщовую торбу. Рукописи валялись повсюду, на полу и на столе, по углам и под ложем, в полном беспорядке, и понять, какие представляют ценность, было совершенно невозможно. Со двора доносились громкие вопли. Сначала противники обменивались оскорблениями; комедиограф явно собирался защищать вход при помощи палки, камней и кулаков до последнего зуба во рту. Внезапно на жалкую дверь обрушился целый град страшных ударов, послышался громкий треск, рев комедиографа и испуганный крик Ксанта. Продик уже успел набить торбу свитками и поспешил по длинному коридору навстречу шуму битвы. Меж тем, враги Аристофана уже ворвались во двор. Комедиограф с проклятьями отступал назад, продолжая размахивать палкой; неловким ударом он проломил в заборе огромную дыру и, не удержав равновесия, шлепнулся на землю. Перепуганный Продик едва успел отскочить в сторону.

Аристофан с усилием поднялся на ноги — грязный, обезумевший от ярости, с налитыми кровью глазами. Он тут же схватил палку и снова ринулся в бой. В небо взвились облака пыли. Противники катались по земле, стараясь перегрызть друг другу глотки. Ксант с жалобными стенаниями метался по двору, не решаясь разнять дерущихся. Раздался жуткий, глухой удар. Отчаянный вопль раба подсказал Продику, кто вышел из схватки победителем. Комедиограф, отплевываясь и кашляя, барахтался в пыли, пока двое молодчиков не поставили его на ноги. Хозяин виллы приказал связать должника. Клубы пыли успели рассеяться, и софист увидел, как его приятеля скрутили по рукам и ногам и швырнули в повозку, будто мешок с зерном. Аристофан звучно плюхнулся на дощатое дно и затих: то ли притаился, то ли потерял сознание. Хозяин исподлобья поглядел на Продика, словно прикидывая, не прихватить ли и его за компанию. Софист предостерегающе поднял руку и начал отступать назад. Молодчики вскочили в повозку и принялись жестоко нахлестывать ни в чем не повинных ослов. Аристофана увезли. Раб семенил за повозкой, как верный пес, причитая и заламывая руки.

### ГЛАВА XXIII

Дверь больницы украшала огромная надпись:

Плата за удаление зубов: безболезненное — 20 драхм, болезненное — 200 драхм.

Продик улыбнулся находчивости лекаря и толкнул дверь.

Ученик Протагора как раз пытался вырвать зуб у примостившегося на неудобном стуле из ивовых прутьев старика, а тот плавно мотал головой из стороны в сторону, словно старался получше рассмотреть потолок. Внезапно пациент громко застонал, и лекарь в ярости топнул ногой:

— Ах, тебе больно! Придется взять с тебя двести драхм!

Старик промычал что-то нечленораздельное, что при желании можно было расслышать как «мне не больно».

— А раз не больно, прекрати вырываться. Лекарь возобновил операцию, а его пациент продолжал извиваться, словно уж, не издавая ни звука.

Сын старика, сидевший на скамейке у входа, с тревогой наблюдал за операцией. Продик угадал в нем аристократа по благородным складкам пурпурной хламиды и сандалиям из мягкой кожи. Молодой человек и лекарь вели разговор о политике, который больше походил на горестный монолог аристократа.

— Заговор против демократии? — разглагольствовал он. — Да наши демократические правители сами плетут заговор против нас! Отбирают у нас деньги и имущество, чтобы наполнить разоренную казну. Они думают, мы золотоносная шахта, из которой можно черпать, сколько вздумается. Кому, по-твоему, пришлось платить за их поражение? Законы никого не защищают. Нас обирают до нитки и еще хотят, чтоб мы верили в демократию.

— Нам всем пришлось заплатить за эту войну, любезный Ксантипп, — отозвался Диодор, не прерывая работы, — в особенности тем из нас, кому довелось воевать.

— Я тоже воевал, и что с того? Мы все потеряли. А теперь у нас хотят отнять последнее и раздать этим голодранцам, которые побираются, потому что не хотят работать. Людям платят за безделье и называют это пособием. Как же, у нас ведь равенство! Отнять у богатых и раздать бедным — вот оно, их равенство. Скажите на милость, как они собираются поднимать этот город. Думают, что в одно прекрасное утро денежки посыплются с неба, или просто смеются над нами? Ох, и доиграются они со своим равенством! Скоро мы все будем в равной степени нищими. А попробуешь пикнуть — мигом окажешься перед судом!

— У меня тоже отбирают деньги, нажитые непосильным трудом и тяжким потом, но я же не возмущаюсь. Ах ты!..

Диодор с неподдельной гордостью продемонстрировал зажатый в щипцах клык, который ему чудом удалось отвоевать, а лишившийся последнего зуба старик скулил, как побитая собака. Его мучитель похлопал жертву по плечу в знак окончания пытки.

— Ты держался молодцом, — объявил Диодор. — Пожалуй, я все-таки возьму с тебя двадцатку.

Молодой аристократ привстал, чтобы получше разглядеть зуб. Диодор промыл его в миске с водой.

— Взгляните-ка. Крепко сидел, проклятый. С такими всегда приходится повозиться.

Молодой человек по достоинству оценил искусство зубодера и заплатил ему двадцать драхм. Его отец, еще не успевший оправиться от потрясения, сплевывал кровь. Лекарь велел ему прополоскать рот вином и назидательно заметил:

— Люди теряют зубы из-за нелепой привычки держать деньги во рту. Всякий раз, когда вы берете в рот грязную монету, считайте, что у меня прибавилось работы, а у вас убавилось денег.

Аристократ робко закивал, схватил отца за руку и бросился на свежий воздух. Диодор вымыл руки и разложил на столе чистые инструменты. Он продолжал рассуждать, обращаясь то ли к Продику, то ли в пространство:

— Если бы люди держали себя в чистоте и не брали деньги в рот, болезней стало бы куда меньше. Но так уж мы устроены; на играх любуемся безупречными телами, а сами расхаживаем по городу, покрытые болячками и струпьями. Мы создаем прекрасные статуи и храмы, а живем и работаем в грязи, по улицам нельзя пройти, прилавки торговцев воняют, мы испражняемся, где нам приспичит, и пасем свиней рядом с собственным жилищем. Неудивительно, что кругом столько больных людей. — Он вымыл руки и повернулся к софисту. — Присаживайся. Что-то я тебя раньше не видел. Ты чужеземец?

Софист осторожно пристроился на краешке ивового стула.

— Я с Кеоса, что в Кикладском архипелаге.

— С Кеоса? Неужто моя дурная слава докатилась в такую даль?

— Меня прислал Аристофан.

— Понятно! Что ж, посмотрим, что нам с тобой делать. — Он бесцеремонно заставил Продика открыть рот и бегло осмотрел его зубы. — Так-так! Похоже, для меня есть небольшая работенка!

— В чем дело? — запаниковал Продик.

Зуб, который раскачивал лекарь, и вправду побаливал, но софист старался не обращать на него внимания.

— Вот этот гнилой. Надо его удалить. Больно? — Он нажал посильнее, и Продик вжался в спинку стула. — Ну конечно, больно. Кроме того, у тебя воспаленное горло. Ну-ка, выпей.

Софист недоверчиво понюхал странное землисто-серое питье. Запах был едкий и неприятный. Перепуганный Продик спросил у зубодера, давал ли тот клятву Гиппократа[[91]](#footnote-91) не травить своих пациентов, но Диодор только рассмеялся:

— Это горчичный сок. Помогает от боли в горле и воспаления. Глотать не обязательно. Прополощи и выплюнь.

Софист неохотно сделал маленький глоток, немного прополоскал для вида и выплюнул в миску, где еще не успела свернуться кровь его предшественника.

— Так или иначе, — твердо сказал Продик, — я подожду несколько дней, прежде чем его удалять.

— Зачем? Давай решим твою проблему сразу, уж если ты здесь.

— Вообще-то я пришел только показаться. Чтобы расстаться с одним из них, понадобится время. Мне нужно приготовиться к этому испытанию, понимаешь?

Диодор недоуменно почесал в затылке:

— Ты необычный пациент. Как тебя зовут?

— Продик.

— Софист Продик?

— Он самый.

Диодор отступил на шаг и внимательно осмотрел своего гостя сверху вниз:

— Боги! Вот так история! — воскликнул он в радостном возбуждении. — Я о тебе так много слышал. Ты был другом Протагора. Другом и учеником. Великий Протагор… Это его Еврипид назвал «любимым соловьем муз», — и с придыханием процитировал: — «Славного мужа сокрушили вы, данайцы, великого мудреца, соловья муз».

— Соловей муз, — задумчиво повторил Продик. — Это прекрасно.

Диодор прикрыл глаза, отдавшись светлым воспоминаниям.

— Что и говорить, Протагор был величайший мудрец. Я всегда мечтал походить на него, стать, как он, Орфеем красноречия. Среди софистов Протагору равных не было. Тот, кому довелось его слушать, не забудет этого никогда. А я слушал его не раз. Я даже хотел стать его учеником, но у меня не было денег. «Не беспокойся, — сказал тогда Протагор. — Заплатишь, когда выиграешь первое дело». Я обещал. И он обучил меня всему: и праву, и риторике, и искусству убеждения.

— Почему же ты не стал софистом? Получается, наука пошла не впрок.

— Пожалуй. Просто мой дядя, умирая, оставил мне эту больницу, я стал вырывать зубы и забросил право.

— Протагор был бы разочарован.

— Возможно — он потратил на меня немало времени. И все же искусство софиста мне пригодилось, когда пришлось драться в суде против двух обвинителей. Я сумел защитить себя сам.

— Это замечательно. Но я слышал, тебе довелось предстать перед судом по обвинению самого Протагора.

— Все очень просто: по его словам, я задолжал плату за обучение. Узнав, что я хорошо зарабатываю на зубах, он пришел ко мне и заявил: «Ты мне должен, приятель». Я ответил, что ничего ему не должен: по договору, я заплатил бы, если бы выиграл свое первое дело, а оно так и не состоялось. Тогда Протагор сказал, что идет в суд и мне придется платить в любом случае. Я спросил, как это может быть. И он ответил: «Если ты проиграешь, суд обяжет тебя заплатить, а если выиграешь — заплатишь, потому что обещал».

Оба дружно посмеялись над забавным парадоксом.

— Значит, ты попал в безвыходное положение, — отметил Продик.

— Сначала послушай, что я ему ответил. Я выслушал Протагора и сказал: «Ничего подобного, учитель. Если я выиграю дело, суд позволит мне не платить, а если проиграю, платить все равно не стану — я еще не выиграл свое первое дело».

— Потрясающе! — восхитился Продик. — Блестящее умственное построение. Здесь намечается интересная логическая дилемма. Два совершенно справедливых и в то же время взаимоисключающих утверждения.

— А ты знаешь решение? — спросил Диодор.

— Попробуем принять точку зрения судьи. Если исходить из данного тобой обещания, победу нужно присудить тебе. Но если так произойдет, получится, что ты выиграл свое первое дело и, следовательно, должен заплатить. Хотя, по существу, выходит, что ты прав.

Диодор внимательно слушал Продика, усмехаясь про себя и с металлическим лязгом перебирая свои инструменты. Обернувшись, Продик увидел, что врач сложил щипцы в котелок, чтобы прокалить их на огне.

— Все верно, — проговорил Диодор. — Я выиграл и не стал платить. Я тогда ходил страшно довольный собой, воображал, будто добился победы собственным умом. Но чем больше я размышлял над этим парадоксом, тем чаще мне казалось, что я все-таки должен Протагору, а судья ошибся, отдав победу мне. Наконец я решился посвятить в свои сомнения самого Протагора. Он нисколько на меня не сердился и охотно объяснил, что решение суда было верным и в то же время неверным, смотря какую точку зрения выберешь. Каждый человек сам решает, что правильно, а что нет, и любое решение будет верным. В тот момент я решил, что Протагор ошибается, ведь одно суждение никак не может быть одновременно верным и неверным. «У тебя есть доказательства?» — спросил он. «Обвини меня снова, — попросил я, — зато, что я не заплатил тебе, когда выиграл свое первое дело». Протагор заметил, что назад дороги нет, и добавил: «Теперь тебе придется платить в любом случае: если ты выиграешь, чтобы выполнить обещание, а если проиграешь, потому что тебя обяжет суд». Мы пошли в суд, и на этот раз выиграл Протагор. Так была решена наша дилемма. Я отдал софисту все, что был должен, но все равно продолжал считать, что правда и ложь — разные вещи. Вот так.

— Боги! — со смехом вскричал Продик. — Я, должно быть, никогда не пойму, почему ты стал зубодером, а не софистом.

Поддерживая беседу, Продик мысленно прикидывал расстояние от стола до двери, опасаясь, что врач вновь атакует его с ланцетом и щипцами. Затягивать разговор было небезопасно.

— Вы называете себя демократами и говорите, что вы за равенство, но лишь богачи могут платить вам за обучение риторике, политике, праву и прочим вещам, которые помогают властвовать над другими. За демократией скрывается плутократия.

— Это правда, — согласился Продик, — у нас есть элитарные замашки. Сократ всегда порицал софистов за то, что они берут плату за обучение.

— Вот именно. Сам он не брал денег со своих учеников. — Тонкие губы Диодора растянулись в хищной улыбке. — Он поступал гораздо хуже: придирчиво их выбирал. И те, кого он отбирал, по чистому совпадению оказывались отпрысками богатейших семейств.

Продик ничего не ответил. Он внимательно смотрел в маленькие, хитрые глазки Диодора.

— Сократ, если можно так выразиться, готовил будущих вождей Афин, — продолжал врач. — В этом заключалась его политическая роль. Его миссия, если угодно. За это его и казнили.

— Боюсь, об этом нам придется поговорить подробнее.

Улучив момент, Диодор разжал софисту челюсти и засунул ему в рот щипцы. Вкус холодного металла заставил Продика забыть о Сократе и обо всем на свете, кроме собственного спасения.

Сначала было совсем не больно, только обильно текла слюна. Потом что-то стало давить на челюсть, захватив больной зуб, послышался треск, начала обнажаться рваная, окровавленная плоть, и боль мгновенно заполнила рот софиста, хлынула в глаза и затопила мозг. Слюна вперемешку с кровью полилась на подбородок, и Продик инстинктивно потянулся, чтобы вытереть губы, но лекарь оттолкнул его руку, не переставая тащить многострадальный зуб.

Продик издал протяжный гортанный стон. Его глаза наполнились слезами. Отступив, Диодор продемонстрировал пациенту зажатый в щипцах зуб. Он был доволен и горд, словно держал в руках не человеческий резец, а золотой слиток.

Зубодер заставил Продика закусить платок, чтобы остановить кровь. А сам приготовил обеззараживающую примочку из уксуса, лимона и меда. Продику казалось, что ему вырвали не один, а целых три зуба. Его тошнило, кружилась голова, тело сковала противная слабость. Софист подумал, что до конца дней своих не сможет подняться с проклятого ивового стула.

Диодор предложил Продику пожевать мятных листьев, чтобы снять воспаление.

— Еще денек поболит, но ранка быстро затянется. Скоро тебе станет лучше. Ты просто испугался.

Продик отдал бы все на свете, чтобы никогда больше не переступать больничного порога. «В этом треклятом городе любое дело превращается в философию», — ворчал он про себя.

— Теперь, когда ты не можешь меня перебить, я скажу тебе, что думаю о суде над Сократом. Старика обвинили в измене и объявили угрозой для демократии. Это Анит постарался. Я знал Сократа много лет и могу сказать твердо: Сократ был не просто противником демократии, он люто ее ненавидел и всей душой хотел сокрушить. В политику он не лез, что правда то правда, и во власть не метил, зато старался внушить свои идеи отпрыскам самых влиятельных семей. У нашего Сократа были сплошь отборные, породистые ученики. А среди них Критий с Алкивиадом, цвет афинской аристократии; страшно подумать, сколько зла они причинили нашему городу. Сократ вроде бы рассуждал о добродетели, но рано или поздно все сводилось к политике. Он был спартанофил до мозга костей, мечтал о государстве с военной дисциплиной и своим учеником во главе. И собирался претворить свои идеи в жизнь. Для меня Сократ — предатель. Хотя казнить его было необязательно. Хватило бы изгнания. Впрочем, он сам выбрал свою участь… Я не любил Сократа, — заключил Диодор, — но мне жаль, что он умер. Афины никогда не будут прежними. Плохо, когда человек умирает, а еще хуже — когда умирает идея.

### ГЛАВА XXIV

Аристофан не сразу оправился после жестокой трепки. Через два дня он очнулся в Сунийской оливковой роще, далеко от Афин, с раздутой, словно гнилой финик, физиономией. Сначала перед глазами комедиографа возникла нелепая шапка Ксанта, потом тускло-синий кусок неба и пустынные холмы, а еще через несколько мгновений он горько пожалел, что не отправился в царство мрачного Аида.

Верный слуга помог своему господину подняться на ноги, бормоча невнятные утешения. Кости Аристофана были целы, и он сумел, хромая и опираясь на плечо Ксанта, добраться до дома своего приятеля. Кинезий, не раздумывая, предложил другу приют. Ксант не пожелал бросать хозяина, и ему позволили остаться в помещении для прислуги. Приглашенный Кинезием лекарь осмотрел больного, промыл ему раны, напоил укрепляющей микстурой и прописал полный покой на целую неделю. Немного окрепнув, Аристофан поспешил в Ареопаг жаловаться на жестокие увечья. Судьи рассмеялись ему в лицо:

— И ты еще смеешь сюда являться? Ты, который столько раз издевался над афинским судом в своих кощунственных комедиях и даже имел наглость обозвать судей слепыми кротами?

— Кротами? Я, помнится, писал о зорких орлах, — возмутился Аристофан.

Пришлось комедиографу заплатить пятьсот драхм, которые он задолжал хозяину виллы, и еще семьсот в придачу — за оскорбление суда.

Аристофан был окончательно и бесповоротно разорен. Из всего имущества у него остался один-единственный раб. Поразмыслив Аристофан решил дать Ксанту свободу: пусть отправляется на все четыре стороны искать себе нового хозяина. Преданный Ксант ответил, что не подчинится, даже если господин прикажет ему уйти.

— Тогда придется высечь тебя за неповиновение. Ксант молча снял тунику и приготовился принять наказание. Вид тщедушного, костлявого тела отнюдь не прибавил комедиографу кровожадности.

— А где я возьму двадцать драхм на кнут? — возмутился Аристофан. — У меня нет денег даже на то, чтобы наказать дерзкого раба. Давай-ка прикрой задницу и ступай раздобудь чего-нибудь съестного, только подешевле.

Ксант отряхнулся и вздохнул с облегчением: лучшего он и пожелать не мог.

Аристофан влез в долги, но денег хватило лишь на то, чтобы заплатить прежним кредиторам и снять ветхую лачугу в квартале Горшечников, среди грязных трущоб и дешевых борделей, посещать которые комедиографу совсем не хотелось. Улочка за его окном больше напоминала помойку, а сразу за домом начинался огромный пустырь, где среди репейника и чертополоха сиротливо торчали могильные камни. Вид окрестностей навевал на сочинителя тоску.

Друзья, как могли, старались поддержать комедиографа. Аристофана все любили, а попадаться к нему на язык никому не хотелось.

Несмотря на дружеские пожертвования, денег Аристофану вечно не хватало. Чтобы снять более достойное жилье, ему пришлось впервые в жизни отправиться к ростовщику. Представителям этой породы доставалось от комедиографа особенно часто. В Афинах не осталось ни одного жалкого менялы, который не точил бы на него зуб.

Городские ростовщики, наслышанные о несчастьях Аристофана, начиная от побоища на вилле и кончая катастрофой в суде, поджидали комедиографа с распростертыми объятиями, припрятав за пазухой увесистые камни. Они услужливо предлагали сочинителю вина, смеялись над удачными шутками из его последних пьес и наперебой предлагали свои услуги. Им не терпелось упиться несчастьем ближнего и насладиться властью над ним. Почтенные старцы, повидавшие на своем веку немало чужих горестей, прежде и мечтать не могли о такой удаче: прославленный Аристофан стучал в их двери, моля о помощи. Для комедиографа просить денег, особенно в рост, было страшным унижением. Обходя ростовщиков, он пускал в ход все свое обаяние и подолгу рассказывал о новой, почти завершенной комедии, которая непременно будет иметь успех и принесет баснословную прибыль. Заимодавцы рассыпались в поздравлениях и пожеланиях удачи, стараясь поскорее выпроводить настырного гостя ни с чем. Аристофан умолял уделить ему еще пару минут, а ростовщик подливал вина. Комедиограф принимался рассуждать о достоинствах нового жилья. Между прочим он упоминал, что присмотрел прелестную виллу в богатом квартале Эскамбониды. Затем следовало описание крепких стен, портиков, колоннад, огромных залов, уютных и светлых комнат, высоких потолков, внутренних двориков, купален, кухонь, кладовых, винных погребов и просторных помещений для прислуги. Чудесные виды, открывавшиеся из окон, были призваны дарить сочинителю вдохновение. В квартале имелся не только источник с чистейшей питьевой водой, но и специальные стоки для помоев. Такая вилла, вне всякого сомнения, была достойна великого комедиографа, но — вот беда! — стоила дороговато. Завершив свой монолог, Аристофан делал паузу, давая ростовщику возможность произнести реплику. Тот молчал, и комедиограф с печальным вздохом объявлял, что окна этого жилища богов выходят на юг. И он уже выбрал мебель и ковры, чтобы украсить комнаты. Ведь кроме таланта к сочинительству, природа наградила его недюжинными способностями декоратора. Ростовщик почтительно слушал, не переставая лихорадочно подсчитывать в уме. Наконец Аристофан называл совершенно невероятную сумму и замолкал, ожидая ответа, словно раската грома после молнии Зевса. Заимодавец кисло улыбался, заверяя просителя, что его просьбу никак нельзя назвать невыполнимой. Чуть позже, убедившись, что жертва проглотила наживку и попалась на крючок, он сообщал, что, к обоюдной выгоде, выплату долга следует производить каждый месяц. Потрясенный комедиограф принимался торговаться, но ростовщик был непреклонен: плата каждый месяц, и дело с концом. Если Аристофан вновь принимался расхваливать ненаписанную комедию, заимодавец ласково предлагал ему снять до поры до времени жилье попроще.

— Что значит — попроще? — ревел комедиограф. В ответ ему советовали вернуться в квартал Горшечников или, на худой конец, присмотреться к улице Треножников, Колиту, а то и Мелиту — выжженному солнцем пустырю за агорой, неподалеку от рыбного рынка. Аристофан кричал, что даже под страхом смерти не вернется в вонючие трущобы, и продолжал торговаться с невиданной горячностью. Сочинителя обуревал гнев, кровь бросалась ему в лицо, а с языка сыпались изысканные колкости вперемешку с циничными оскорблениями. Его, что, принимают за дурака? Да как этот жалкий мошенник, старая крыса, кровопийца смеет отказывать ему, великому комедиографу? В конце концов, Аристофан громко хлопал дверью и отправлялся искать справедливости к другому ростовщику.

В один прекрасный день он появился на пороге «Милезии» и, потупив взор, попросил аванс за комедию. Аристофану пришлось выслушать все, что Аспазия думала о бессовестных сочинителях, которые являются требовать денег, не предоставив даже первого акта. Впрочем, автору, который не боялся прогневать публику, выступая против порабощения женщин, можно было простить беспечность и невинные слабости. Аспазия возлагала большие надежды на новую пьесу о женской ассамблее, посрамившей мужчин, и комедиограф уже давно заверял ее, что работа идет полным ходом.

К несчастью, накануне Продик передал Аспазии уцелевшие рукописи Аристофана, рассудив, что в ее библиотеке они сохранятся лучше, чем в бедных лачугах, где перебивался комедиограф. Женщина провела целую ночь, разбирая чудовищные каракули, и обнаружила… список действующих лиц новой комедии. Дальше этого списка Аристофан не продвинулся. На что же, спрашивается, он потратил целых три месяца?

Предчувствуя бурю, Аристофан поспешно набросал несколько забавных реплик. Он собирался вложить их в уста главной героини, решительной и прозорливой женщины, чем-то напоминавшей молодую Аспазию. Комедиограф прочел вслух:

— «Сестры, не жажда славы заставила меня взять слово, но жестокие поругания и притеснения, которые нам, женщинам, приходится терпеть. Доколе мужья будут запирать нас на женской половине, вешать на двери тяжелые замки и выпускать молосских собак, чтобы отпугнуть соперников».

Аспазия внимательно прочла отрывок. Она с удовольствием отметила, что в заявлении героини не было ни тени бахвальства, а слова о поруганиях и притеснениях нашла вполне убедительными. Насчет тяжелых замков тоже получилось неплохо, однако… Что это еще за молосские собаки, которые отпугивают соперников? Как он посмел написать такую мерзость? Теперь публика сможет лишний раз убедиться, что женщины — легкомысленные и развратные существа, которых следует держать взаперти. Аристофан вяло возразил, что это всего лишь шутка.

— Ах, шутка! — возмутилась Аспазия. — И ты находишь ее смешной?

— Послушай, Аспазия… — Аристофан беспомощно развел руками. — Ты ничего не смыслишь в комедиях. Это такой сценический прием. Если выбросить собак, получится не смешно. Замки без собак не сработают…

— Довольно! И собак, и соперников вычеркнуть!

— А если поменять на беотийских собак? Или коринфских?

— Постарайся обойтись без неверных жен, к которым крадутся любовники. Неужели ты сам не понимаешь, как это грубо.

— Грубовато, но забавно.

Литературный спор был прерван появлением Необулы. Аристофан тотчас же позабыл о псах какой бы то ни было породы. Гетеру взбесило не слишком почтительное упоминание Пенелопы.

— Помнишь, как он нас провел с «Лисистратой»? — спросила она, ткнув пальцем в комедиографа.

— Провел? О чем ты говоришь, золотко?

— Тебе заказали комедию в защиту женщин, а ты выставил нас похотливыми дурехами.

— Но ты ведь не станешь спорить, что любая женщина, даже самая образованная, не всегда может противостоять страсти…

Аспазия закатила глаза.

— План Лисистраты срывается, — продолжала Необула, — потому что ее товарки и дня не могут прожить, не повалявшись с мужьями.

Аспазия засмеялась:

— Да-да, отлично помню: он тогда еще клялся, что такое больше не повторится.

Беднягу Аристофана загнали в угол. Он чувствовал себя готовой к закланию жертвой на празднестве кровожадных менад.

— А еще, — продолжала атаку Необула, — ты написал, что женщины не смогут голосовать поднятием руки, потому что привыкли задирать ноги!

— Что было, то было, — примирительно забубнил Аристофан, — все мы иногда ошибаемся. Но на этот раз все будет по-другому: я изображу вас разумными, отважными, благородными, не хуже героинь Еврипида.

— Мне нужна настоящая комедия, — отрезала Аспазия. — Никаких грязных шуточек про любовников и псов.

— И не вздумай подражать Еврипиду, он женоненавистник, — наступала Необула.

— Не трогай Еврипида, малышка, — взмолился Аристофан. — Сейчас он, должно быть, совершает приятную прогулку по царству Аида.

— Никогда не забуду это место из хора: «Женщины рождены на погибель мужчинам». И ведь это женский хор! Еврипид нас ненавидел и не упускал случая оскорбить. Он обзывал нас ведьмами, пьяницами, изменницами, шлюхами, плутовками и кошмаром мужчин. Надеюсь, хоть в этом ты его копировать не станешь.

Аспазия достала из шкатулки деньги, переложила их в кожаный кошелек и протянула комедиографу. Аристофан поцеловал ее тонкую руку.

— Не вздумай промотать их, больше не получишь. Клянусь Афиной, — пообещала хозяйка «Милезии», легонько дернув сочинителя за бороду.

Аристофан воспрянул духом и хотел было уйти, но возвратился с порога:

— А ты меня не накажешь, Необула?

### ГЛАВА XXV

КЕОССКИЙ СОФИСТ вычеркнул Аристофана и Диодора из списка подозреваемых. Комедиограф был должен слишком многим: убийство одного кредитора лишь усложнило было его положение. Зубодер оказался миролюбивым и спокойным человеком, убежденным демократом, который не слишком жаловал Сократа и его опасные идеи. Единственное оружие, которым он мастерски владел и охотно пользовался, был острый язык.

Диодор открыто и бесстрашно рассуждал обо всем на свете. Продик ни за что не поверил бы, что такой человек может быть преступником или заговорщиком. Судя по всему, заговоры интересовали его только в теории.

Следующим в списке был главный подозреваемый — сын Анита Антемион. В юности он покинул дом из-за лютой вражды с отцом, а теперь мог задумать его убийство. Все эти годы молодой человек берег и холил свою ненависть к Аниту, подогревая ее вином. Аспазии этот пьянчуга скорее нравился. Она считала его умным и тонким человеком, остроумным, но отнюдь не легкомысленным.

Разыскать Антемиона в вечерний час не составляло труда: как и все пьяницы, он редко изменял своим привычкам. Ведущую к рынку широкую улицу запрудила отара овец. Продику пришлось свернуть в проулок, рискуя зачерпнуть сандалиями жидкой грязи. По дороге он миновал ручей, в котором женщины стирали белье, а потом, обмениваясь сплетнями, раскладывали его сушиться на камнях. Заметив среди них Ксантиппу, софист отвернулся и ускорил шаг.

Таверна располагалась в квартале Горшечников, сразу за Дипилонскими воротами, на берегу Эридана. Вокруг раскинулся поросший сухой травой пустырь с полинявшими рваными шатрами и бедными, вытоптанными свиньями огородами. Антемион проводил время в грязном дешевом кабаке, где вечно ошивались подозрительные личности. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы неторопливо накачаться вином в компании таких же пьянчуг. Продик, надвинув шляпу по самые брови, зашел в таверну в сумерках, когда подозреваемый был еще вполне трезв, чтобы понимать собеседника и отвечать на вопросы, но уже достаточно пьян, чтобы искусно лгать. Едва софист переступил порог заведения, посетители, как по команде, подняли глаза от засиженных мухами столов и принялись мрачно разглядывать чужеземца. Трактирщик принес Продику кувшин разбавленного водой вина. Сын Анита был умыт, аккуратно причесан и одет в длинный дорогой хитон с винными пятнами на груди. На вид ему можно было дать около тридцати лет. Человек, доживший до таких лет, каждый день напиваясь до потери сознания, скорее всего, обладал железным здоровьем. Если бы не растрепанные волосы и спутанная борода, Антемион показался бы весьма привлекательным молодым человеком. В его глазах сквозили пытливый ум и болезненная подозрительность пьяного.

— Что тебе нужно, старик? — спросил Антемион. Меня зовут Продик, я прибыл с острова Кеос, что в Кикладском архипелаге. Я ищу Антемиона, сына Анита.

Тогда ты его нашел. Тот, кто пришел поговорить со мной, может считать меня своим другом. Я всегда не прочь поговорить с умным человеком, будь он стар или мал, местный или чужестранец, мужчина или женщина. — Антемион помолчал, собирая разбегавшиеся мысли, и продолжал с пьяным дружелюбием: — Знакомый или незнакомец. На самом деле я предпочитаю незнакомцев. Так поведай же мне, мой неизвестный друг, прибывший издалека, зачем ты хотел меня видеть.

— Меня интересуют обстоятельства смерти человека по имени Сократ.

— А, Сократ! — Антемион со всей силы ударил кулаком по столу, расплескав вино из кружек своих соседей, но они были слишком увлечены беседой и ничего не заметили. — Я просто обожаю разговоры о Сократе. Это был удивительный человек. Мы медленно убиваем себя, растягивая наши кубки на многие годы, а он свой выпил залпом.

Послышались жидкие смешки.

— Мало кто в этом городе знал его так же хорошо, как я. Кстати, ты слышал эту историю?

— Какую историю? — насторожился софист.

— Как-то раз один человек столкнулся на перекрестке с Сократом. И спросил его: «Скажи мне, добрый человек, как пройти к берегу Эридана?» «Ты хочешь знать, какую из двух дорог выбрать?» — отозвался Сократ. «Именно так». «Ты спрашиваешь, как выйти на берег Эридана. Но почему ты решил, что одна из этих дорог ведет к реке?»… Путник, как ты, наверное, догадываешься, начал сердиться. «Откуда мне знать, ведет ли туда одна из дорог, или обе, или вообще ни одна?» — ответил он. «Вот именно, — обрадовался Сократ, — ведь лишь выбрав правильную дорогу, ты сможешь попасть на берег Эридана. А если выберешь не ту дорогу, ни за что не попадешь»… Путник не знал, что и думать, — он глядел на Сократа и не мог взять в толк, откуда навязался на его голову этот чудак. «Но ты не знаешь, какую дорогу выбрать, — продолжал между тем Сократ, — потому и спрашиваешь меня»… Смеркалось, и несчастный путник, испугавшись, что ночь застигнет его посреди поля, решил выбрать дорогу наугад, лишь бы спастись от надоедливого старика.

— Весьма поучительно, — улыбнулся Продик, усаживаясь рядом с Антемионом и стараясь пристроить шляпу в относительно сухое и чистое место.

Трактирщик принес кувшин с какой-то мутной жидкостью, отдаленно напоминавшей вино. Продик сделал глоток и сморщился. Пойло больше всего походило на уксус. Всякий раз, когда открывалась дверь, в таверну проникал тяжелый запах помойки. Над кучами мусора, что не одну неделю росла под окнами кабака, кружили тучи мух и хрипло каркали вороны.

— Едва ли ты пришел сюда, — произнес Антемион, — чтобы насладиться этим божественным вином и послушать мои мудрые речи.

— Я расследую обстоятельства смерти Сократа, — невозмутимо повторил старик.

— Отлично, значит, я смогу рассказать о том, как начал пить. Мы, пьяницы, вечно рассказываем одну и ту же историю. Зато делаем это превосходно. Никто не расскажет эту историю лучше нас, ведь мы повторяем ее снова и снова, много лет подряд, и непременно после первого кубка.

Кто же откажется послушать хорошую историю, — обрадовался Продик. — Я весь внимание.

Так, о чем это я… — Антемион сделал несколько жадных глотков, вытер губы тыльной стороной ладони и приступил к своей печальной повести: — Я паршивая овца, позор семейства. Мой отец хотел, чтобы я стал человеком, а из меня вот что вышло.

— Сразу видно, что ты из хорошей семьи.

— Так и есть: моя семья — одна из богатейших в Афинах. Нам принадлежит половина всех кожевенных мастерских и лавок. Я был богатым молодым бездельником, который вечно ссорился с отцом, потому что не хотел заниматься семейным делом. Когда Сократ завлек меня в свои сети, я был совсем мальчишка и понятия не имел, чего хочу. Глупый юнец, который лопался от высокомерия и ненавидел собственных родителей. Сократ был для меня не просто наставником — в нем я видел настоящего отца. Он знал обо мне куда больше, чем я сам о себе знал. Рядом с ним я чувствовал себя маленьким, слабым и ничтожным. Я поклонялся Сократу, как богу. Самому уродливому и нелепому из олимпийских богов. В его словах я привык искать ответы. Сократ запутал меня, унизил, лишил веры в себя, но я все равно продолжал верить ему. Попроси он меня броситься с обрыва, я прыгнул бы, не раздумывая. Но я, видишь ли, разочаровал своего великого наставника. Обманул ожидания учителя истины! Исчерпал его божественное терпение! Он говорил, что для познания истины нужно отказаться от земных благ, а я ни от чего не захотел отказываться. Я не мог стать таким, как отец, и таким, как Сократ, тоже не стал. Много лет я терзал себя и других, не в силах принять решение, и учителю стало скучно. Он прогнал меня.

Продика рассказ Антемиона и тронул, и позабавил. Он внимательно вглядывался в лицо собеседника, боясь пропустить легчайший признак неуверенности или лжи.

— Я был из тех сыновей, которые говорят: «Конечно, отец, как скажешь», а потом делают по-своему. Сократа такие не интересовали. А я-то решил, что мой наставник испугался угроз Анита. И возненавидел отца. Анит во всем винил Сократа. А я решил, что во всем виноват мой отец. Тогда-то я и ушел из дома. У меня был верный друг Платон, но Сократ и ему сломал жизнь.

Антемион говорил бесстрастно и монотонно, но лицо выдавало его. Молодой человек с большим трудом сдерживал волнение: на шее у него дрожали набухшие жилы, челюсти кривились, глаза горели. Продику стало не по себе.

— Что же получается… — поспешно проговорил софист. — Сократ прогнал тебя, и ты не смог этого пережить. Он поневоле стал виновником твоих бедствий.

Антемион хрустнул пальцами:

— Ты попал в самую точку, дружище.

— А в чем состоял путь истины?

— Прежде всего, нужно было заменить ложные идеи…

— Верными?

— Его собственными.

— Должно быть, Сократ выбрал тебя, потому что ты был молод, богат, происходил из влиятельной семьи и нуждался в наставнике.

Антемион махнул рукой и велел принести еще вина.

— А что приключилось с Платоном?

— Я сам познакомил его с Сократом, а потом горько пожалел. Платону, как и мне, не хватало отца. Он осиротел шести лет от роду и ненавидел своего отчима так яростно, что пытался поджечь их с матерью супружеское ложе. У Платона был дядя, небезызвестный Критий. Он обучил племянника сочинять элегии, складывать гекзаметры и презирать демократию, так что в лапы Сократа наш Платон попал хорошо подготовленным.

«Мысль омывает человеческую душу, подобно тому, как кровь омывает сердце», — с чувством процитировал Продик. ~~ Откуда это?

— Это написал кровавый тиран Критий. Он был гениальным лириком.

— Сократ и Критий, — продолжал сын Анита, — были старыми друзьями. Накануне побега в Фессалию Критий долго говорил с философом и поручил ему присматривать за Платоном. С того дня наша дружба дала трещину. Платон занял мое место, и я не мог смириться с этим. Платон сделался высокомерным и заносчивым, окончательно рассорился с матерью, а с отчимом, видным демократом и послом в Персии, полюбил спорить о политике. Ты не поверишь, но старый плут с козлиной бородой Платона просто боготворил. Наконец-то у него появился достойный ученик, который во всем станет следовать его учению и в один прекрасный день, возможно, решит судьбу Афин. Правитель, который будет голосом и тенью своего наставника. А я топил свое горе в кувшине с вином и больше всего на свете хотел умереть. Я привык во всем зависеть от Сократа и не понимал, как жить дальше. Вот и вся история о том, как Сократ загубил мою жизнь. Сначала подобрал, а потом выбросил на дорогу.

— Зато теперь ты свободен от наваждения.

— Вино обостряет ум и память. Хочешь секрет, приятель: я помог отцу обвинить Сократа.

Продик помолчал, обдумывая сказанное Антемионом.

— Значит, ты успел помириться с отцом. Молодой человек задрожал. Он стал доказывать, что согласился на это, чтобы осуществить правосудие и спасти свою честь. Отомстить старому врагу. Вновь обрести семью. Отдать старые долги, прежде чем сойти в царство Аида.

Антемион дрожащей рукой поднял кубок. Молодой человек почти забыл о собеседнике, погрузившись в пучину застарелой боли. В его глазах, смотревших сквозь «конченные стены таверны, мимо помойки и грязного пустыря, в какую-то несуществующую даль, вспыхивали огоньки неутоленной ярости. Продик знал, что означает этот взгляд.

— Кто убил твоего отца?

Этот вопрос моментально вывел Антемиона из хмельного оцепенения:

— Если бы я знал, кто убийца, он давно был бы мертв.

— Мы говорили о Платоне.

— Платон сильный человек, настоящий фанатик, но не убийца.

— Откуда ты знаешь?

— Платон из тех, кто управляется с пером лучше, чем с ножом. Сейчас он заперся у себя в Мегаре, чтобы записать великие мысли своего учителя, по памяти.

— Он мог нанять убийцу.

— Едва ли. Ты знаешь, сколько восторженных юнцов окружало Сократа? Я сам был таким, а Платон таким и остался. Тот, кто живет идеями, не думает о мести. Он не способен к активным действиям.

— Возможно, ты и прав, — признал Продик.

— Хочешь знать, что я думаю?

— Разумеется, я за этим и пришел.

Антемион огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что их никто не подслушивает, и понизил голос.

Я думаю, его убили заговорщики, которые хотели спасти Сократа?

Он узнал их имена?

Это мне как раз неизвестно. Мне отец ничего не говорил, хотел сначала все выяснить и донести судьям.

Антемион глубоко вздохнул и закатил глаза. Выглядел он ужасно. Молодой человек протрезвел, но казался совсем больным. Взяв себя в руки, он продолжал:

— Ходят слухи, что друзья Сократа пытались его освободить. Это правда, я точно знаю. Он отказался, хотел принести себя в жертву. Чтобы весь город терзался муками совести: а что если мы казнили невиновного? Что если он был прав? Сократ хотел остаться в истории героем, достойно принявшим несправедливое наказание.

— Он был помешан на идее бессмертия, — подтвердил софист.

— Мы с отцом сразу же заподозрили неладное, но решили: пусть бежит. Пусть все знают, что он виновен. Да мы бы сами устроили этот побег, если бы друзья Сократа нас попросили. — Антемион усмехнулся. — Но Сократ оказался умнее и предпочел остаться в тюрьме. Впрочем, эта история и так всем известна, куда интереснее то, что было дальше. Всю правду знал только мой отец, но он уже никому ничего не расскажет. Я думаю, у заговорщиков был еще один план, безупречный, такой, который и сам Сократ принял бы, но мой отец его раскрыл. Вот только что это был за план? Понятия не имею. Сократ ни за что не согласился бы прослыть преступником.

— Он стал бы отрицать свою вину даже после побега?

— Вот именно. С трудом верится, не правда ли? Только не спрашивай меня, как это возможно: быть преступником, бежавшим от правосудия, и в то же время ни в чем не повинным человеком. Но заговорщики что-то придумали. Отец узнал, что они собирались перевезти философа в Мегару, но в последний момент что-то сорвалось. Удайся их план, и Сократ, и Анит остались бы живых. Мой отец нашел неоспоримое доказательство. Он начать новое расследование, чтобы вывести заговорщиков на чистую воду. Такое доказательство, которое убедило бы Ареопаг. Отец держал его в руках, а потом оно каким-то непостижимым образом исчезло. Или было похищено. Но оно все еще здесь, в Афинах, я знаю. В «Милезии» или где-нибудь поблизости от нее.

— Ты уверен? — насторожился софист.

— В последние дни отец туда зачастил, хотел найти свое доказательство. А нашел смерть.

— Это человек или предмет?

— Понятия не имею.

— Тогда Анита убили, — заключил Продик, — чтобы спасти заговорщиков и защитить доброе имя Сократа.

— Должно быть, так оно и вышло. Убийца знал, что отец охотится за уликой.

— И следы ведут в «Милезию», — задумчиво покачал головой Продик.

— Теперь ты понял, кого я подозреваю? Приметы: близкий друг Сократа, но не ученик, отважный, умный, влиятельный, способный придумать хитроумный план, имеет отношение к «Милезии».

— Аспазия из Милета, — прошептал софист. Дрожащая рука не удержала кубок. Софист наклонился, чтобы поднять его, и его искаженное страхом лицо отразилось в багряной винной лужице.

### ГЛАВА XXVI

Вгустом и тяжелом хмельном тумане колебалось пламя свечей, мелькали неясные тени, извивались гибкие, бесстыдные, дразнящие обнаженные женские тела, плавали сладкие ароматы, звучали голоса и звонкий смех. Развалившись на широких ложах или прямо на полу, мужчины жадно следили за стройной танцовщицей, которая извивалась и кружилась в неверном свете факелов на фоне тяжелого занавеса, звеня браслетами и встряхивая роскошными волосами.

Услужливые, ласковые, соблазнительные женщины разливали гостям вино. Гетеры, нежные и послушные, словно комнатные собачки, разводили мужчин по комнатам; всюду витал дух сладостного разврата: в таинственных складках занавесей, в причудливых танцах и манящих звуках кифары, в шепоте и смешках, в опасной близости чужого тела, в потной коже, в плоти, трепетавшей в томительном и радостном предчувствии. В каждом взгляде, в каждом движении босой ножки или крутого бедра, в каждом прикосновении, улыбке, смешке таилось обещание невиданных наслаждений, удовольствия на грани безумия и гибели.

В «Милезии» стиралась граница реальности и сна. Игра света и тени, колебание свечей, отраженное в бесчисленных зеркалах, таинственный лунный блеск мозаичных стен, хмельное и сладкое вино, чарующие ароматы помогали гостю погрузиться в обманчивый, фантастический мир. Дом свиданий манил тех, кому хотелось осязать мечты.

Лежа на чудесном мягком ложе и наслаждаясь превосходным массажем, который ему делала Необула, Продик рассматривал гобелен на стене: привязанный к мачте Одиссей внимал пению обольстительных и хищных крылатых сирен. Мореплаватель всеми силами старался порвать путы и броситься в черные волны Понта навстречу дивному пению.

Вдыхая терпкий запах кипрских благовоний, которые гетера втирала в его спину, Продик думал, не из рода ли морских сирен сама Необула. В ее руках софист был совершенно беспомощен, словно рыба на разделочном столе. Ловкие, ласковые пальцы разминали старческие мышцы, и напряжение постепенно уступало место мучительному наслаждению.

В уютные покои почти не долетал шум разудалого празднества, которое продолжалось в главном зале. Продик позабыл обо всем на свете, отдавшись невиданному блаженству. Когда гетера принималась массировать плечи и шею софиста, он видел ее ноги, стройные, сильные и совершенно гладкие. Чтобы коснуться их, довольно было протянуть руку, но софисту совсем не хотелось двигаться. Годы брали свое: Продик все чаще предпочитал другим видам наслаждения абсолютный покой.

Быть софистом и послом, наверное, очень интересно, — промурлыкала Необула. — Ты познал немало прекрасных женщин и написал много замечательных книг.

Гетера повязала каштановые волосы лиловым платком. Любимыми цветами гетеры были фиолетовый, синий и красный: вот и сегодня она выбрала лиловый дорийский пеплум и накидку цвета моря на закате.

— Совсем немного поистине красивых женщин и кучу плохих книг.

— Софиста у меня еще никогда не было. Вас очень мало, и вкусы у вас странные. Впрочем, я люблю всякие извращения.

И она принялась разминать Продику плечи ребрами ладоней. Софисту казалось, что к его телу возвращается юношеская гибкость.

— Ты ничего не потеряла, — произнес он ровным голосом.

— Вы, мудрецы, не верите в настоящую страсть. — Она скорчила забавную гримасу.

— Разве в этом мире есть хоть что-нибудь опаснее страсти? Из-за нее разгораются войны, рождаются и умирают люди.

— Кажется, я знаю твое слабое место, — усмехнулась Необула. — Ты слишком полагаешься на здравый смысл. Стараешься держать голову в холоде.

— К несчастью, это не всегда удается.

Необула кивком головы указала на гобелен с Одиссеем и сиренами. Продик покосился на связанного мореплавателя.

— Вот пример истинной мудрости, — заметила гетера. — Он выжил, потому что не доверял собственной холодной голове и знал всю силу страсти. Потому и велел себя связать. Отказался от свободы выбора.

Продик не мог скрыть восхищения. Слова, достойные самой Аспазии!

Непринужденно беседуя, гетера и софист старались нащупать слабые стороны друг друга и прикинуть, откуда ждать нападения.

— Все это очень интересно, Необула. Я вижу, ты весьма образованная женщина. Но согласиться с тобой не могу. Я хочу сказать, что Одиссей сделал сознательный выбор. Здравый смысл подсказал ему, что страсть может оказаться губительной. Он сумел обойти западаю.

Пальцы гетеры принялись пощипывать Продику спину.

— Знаешь? Мужчины иногда зовут меня сиреной.

— Тебе нравится отдаваться за деньги?

— А почему бы и нет?

— Это ремесло дает определенную свободу, но плата за нее может оказаться чересчур высокой.

Горячие ладони опустились софисту на бедра и яростно разминали мышцы.

— Мы, гетеры, всегда находимся среди мужчин и знаем каждую ниточку в ткани мужской власти. Мы вхожи в дома самых влиятельных людей, мы слушаем их разговоры, видим, что происходит за закрытыми дверьми, храним самые сокровенные тайны. Мы завлекаем мужчин, сводим с ума и делаем беззащитными. Мы знаем о них все, нам ведомы их пороки, болезни, слабости, мерзости — разузнать все это для нас не составляет труда. Мужчины сами делятся с нами своими секретами и верят, когда мы клянемся молчать. Они приходят к нам искать убежища, и мы утешаем их. У нас просят совета и участия. Мы помогаем развеять страхи.

— Понимаю.

— «Милезия» — уменьшенная копия Афин. Здесь сталкиваются разные силы, разные идеи. Жажда власти сродни любовному влечению. Человеческое тело подобно полису. А политика — эротике.

Тебе стоит заняться софистикой, — улыбнулся Продик. — Полагаю, в нашем маленьком братстве ты пришлась бы ко двору. И могла бы преподать нам хороший урок.

А ваше маленькое братство осмелится принять в свои ряды женщину?

Необула выпрямилась. Женщина немного запыхалась, и щеки ее пылали. '

— Ты не поверишь, — усмехнулся Продик. — В последнее время мы стали гораздо терпимее.

— Что ж, я подумаю над твоим предложением, когда придет время распроститься с ремеслом гетеры. Годы никого не щадят.

— Одно из преимуществ софистики состоит в том, что она учит смиренно встречать старость.

— А чему научился ты?

— Немного риторики, чуть-чуть того, чуть-чуть сего — ну, ты понимаешь.

— А теперь ты стал расследовать преступления? Продик вознес благодарность богам за то, что лежал лицом вниз, и гетера не могла видеть его изумления.

— Мне известно о твоей миссии, — пояснила Необула.

Теперь они сидели лицом к лицу.

— На самом деле, — признался Продик, — я хочу спасти «Милезию». А для этого нужно разыскать убийцу.

— Мы все хотим ее спасти.

— Тогда помоги мне.

Необула ласково улыбнулась софисту. Она уселась на ковер, под лампой, и принялась перебирать кисти подушки, словно хотела скрыть волнение. Продик, кряхтя и охая, поднялся с ковра. Его тело было расслаблено, но мозг работал, как ни в чем не бывало, схватывая каждое слово, сказанное гетерой.

— По-моему, — начала Необула, — это было политическое убийство. Чтобы раскрыть его, нужно иметь представление о соотношении сил в городе. Компания влиятельных людей поделила между собой власть. Каждый из них ведет свою игру. А остальные подчиняются силе и закону. Принимают правила игры и не создают проблем. Но время от времени появляется человек, который противопоставляет себя всем.

— Оппозиция не только неизбежна, но даже необходима, особенно в столь развитом государственном устройстве, как полис, — заметил Продик.

— К оппозиции можно отнести тех, кто критикует действительность, не затрагивая основ. Взять хотя бы Аристофана: он высмеивает политиков, но все равно остается законопослушным гражданином, помнит о своем долге и не угрожает государству.

— А Диодор, лекарь?

— Он тоже скорее оппозиционер, чем мятежник.

— А кто, по-твоему, мятежник?

— Мятежник стремится к радикальным переменам, не боясь разрушить устои государства. В средствах он неразборчив.

— Он-то мне и нужен. Настоящий злодей.

— Вполне возможно.

— Но ведь и сам Сократ был мятежником. Разве не за это его казнили?

— Ты полагаешь? — вскинула брови гетера. Продик ограничился коротким кивком.

Он мог бы стать мятежником, — продолжала Необула, — идеи Сократа могли бы потрясти Афины, если бы вышли за пределы узкого круга его учеников. Наш философ оказался неспособным к решительным действиям. Он ничего не мог изменить и оттого жил в постоянных терзаниях.

Говорят, он умер за истину. А ты как думаешь. Необула?

По крайней мере, сам он, кажется, в это верил. Не так уж важно, прав был Сократ или нет, куда важнее, что за свою истину он был готов заплатить жизнью.

— Ты им восхищаешься? — спросила Необула с недоброй усмешкой.

— Да, — признался софист. — Я пытаюсь понять, что заставляет человека пожертвовать жизнью, какая идея способна вдохновить его так, чтобы он презрел смерть. Каково это, в трезвом уме, хладнокровно, выпить цикуту за здоровье своих палачей.

— Хоть кто-то знает, за что умирает.

— Не такое уж плохое утешение.

— А ты знаешь, в чем состояла его истина? — поинтересовалась Необула.

— Мы об этом не говорили, но кое о чем я догадался сам. Сократ ставил честь выше жизни, потому и принял смерть. Глупо, зато величественно.

— Достойный финал великолепной трагедии. При жизни Сократ и мечтать не мог о такой славе. Умри он от старости, кто стал бы о нем вспоминать?

Продик негромко рассмеялся.

— Ну а если Сократ не был мятежником, кто же в таком случае мятежник? — спросил он немного погодя.

— Одна женщина, которая решилась дать другим женщинам образование, научила их любить свободу и спасла от мужского гнета, женщина, которая мечтает дать своим сестрам право голоса и верит, что без этого нет демократии.

— Аспазия? Ты хочешь сказать?..

— Я ничего не хочу сказать, — отрезала Необула. — Но представь, что произойдет, если «Милезию» и вправду закроют. Начнется настоящее восстание. А мы, женщины, от этого, возможно, только выиграем.

— Что же вы можете выиграть?

— Это будет зависеть от результатов переговоров. Нас услышат, по крайней мере.

— Но ты ведь не думаешь, что Аспазия могла убить человека.

Необула промолчала.

— У нее не хватило бы сил, — с надеждой произнес Продик.

\_Есть одно снадобье, от которого человек погружается в непробудный сон. А хорошо отточенным кинжалом легко пронзить сердце, особенно если поупражняться на свиньях. Много сил для этого не нужно: достаточно надавить на рукоять всем своим весом.

Продик помолчал, обдумывая доводы гетеры, и нашел их довольно логичными.

— И что это за снадобье, от которого засыпают мертвым сном?

— Аспазия — мастерица готовить сонные зелья из травы Цирцеи.

Продик и сам не раз заставал подругу за этим занятием. Аспазия безошибочно распознавала травы и помнила, от каких недугов они помогают.

— Главное — правильно рассчитать дозу, — ядовито улыбнулась Необула.

Продик совсем пал духом. Расследование принимало скверный оборот. Аспазии и вправду ничего не стоило подмешать зелье в кубок Анита. Несчастный всю ночь цедил отравленное вино. А вонзить клинок в сердце неподвижного, бесчувственного человека под силу и хрупкой пожилой женщине.

И все равно я не понимаю… — Софист горестно вздохнул и покачал головой. — Она не способна на такое зверство.

Необула ласково поглядела на старика и взъерошила ему волосы.

Ты же знаешь, любовь делает нас слепыми и глухими.

Игнасио Гарсиа-Валиньо Продик кивнул.

— Аспазия была здесь, когда убили Анита, — добавила Необула.

— Она этого не скрывает.

— На самом деле ее никто не спрашивал. Кстати, она присутствовала на моем допросе. У меня так и не догадались спросить, не входила ли Аспазия к Аниту.

— Ты видела ее? — содрогнулся Продик.

— Нет. Но она могла войти. В зале ее точно не было. Спроси у Тимареты, Эвтилы или Хлаис. Из всех нас одну Аспазию не допрашивали.

Продик задумался.

— Подозреваемых очень мало, — продолжала Необула, — а убийцу до сих пор не нашли. Как такое может быть? Не знаешь?

Продику оставалось лишь признать проницательность женщины. Гетера была польщена. Она погладила гостя по щеке и помогла ему удобно устроиться среди подушек. Продик притянул Необулу к себе. Гетера ловко раздела Продика и растянулась подле него на ковре. Софист не сопротивлялся. Женщина принялась ласкать его бесстыдно и настойчиво. Продик попытался отстранить гетеру, но слишком нерешительно и мягко. Необула не отступала. Продик сделал вялую попытку отодвинуться; оттолкнуть женщину не хватало сил. Необула обхватила его за плечи, мягко, но решительно, заставила лечь на спину и принялась осыпать поцелуями, шепча какой-то нежный вздор.

— Брось, девочка, зачем тебе эта старая посудина, — взмолился Продик, — у нее и мачты давно нет.

Ласки Необулы были умелыми, расчетливыми. Продик коснулся ее полных губ, и гетера шутливо куснула софиста за палец. Прикоснувшись к влажному нёбу, старик ощутил прилив позабытой страсти. Женщина опустилась на колени и касалась его плоти кончиком языка, бессвязно шепча сладкие, запретные слова, такие верные и точные, каких не подобрал бы ни один софист. Эти слова рождали в сознании Продика неясные образы, пробуждали память о былых днях, дальних странствиях, угасших чувствах и потерянных женщинах. В душе разгоралась мечта о простой и долгой жизни без обмана, тоски и расставаний, жизни, полной хмельного вина и сладкого запаха нарда[[92]](#footnote-92), жарких объятий и горящих взоров; а женщина все шептала свои диковинные слова, и он впитывал их всем своим существом. Правдивая ложь, желанный обман.

Продик из последних сил пытался разорвать пелену опасного дурмана. Он боялся любви, стыдился своего старческого тела с морщинистой желтой кожей. Продик давно ощущал себя пленником собственного уродства, а к старости это чувство стало особенно острым. Ласки гетеры становились все смелее, но софист не мог отрешиться от реальности, не мог позабыть о своем жалком теле.

Губы гетеры впились в его губы, змеиный язычок проник ему в рот и облизывал нёбо, а настойчивая рука продолжала сжимать и гладить набухающий член. Потом Необула уселась на Продика верхом и принялась тереться о живот старика своими чреслами, изгибаясь и касаясь грудью его лица. Продик попытался оттолкнуть гетеру, но силы оставили его, кровь хлынула к голове. Женщина стала раскачиваться, сначала медленно, осторожно нащупывая путь, потом все быстрее и быстрее, она извивалась, скользила вверх-вниз, то позволяя Продику погрузиться в самую глубину своего тела, то вновь отдаляясь; сначала софист издавал слабые стоны, потом затих и лежал, как мертвый, словно кусок старого мяса, годный лишь на то, чтобы доставить наслаждение молодой плоти.

Продик не шевелился, почти не дышал, из последних сил сопротивляясь страшной тяжести, сдавившей грудь. Никогда прежде он не знал подобного унижения. Женщина не позволяла софисту отвечать на свои бешеные ласки, забавляясь с ним, как с игрушкой. Необула наслаждалась беспомощностью старика, купалась в его унижении, упивалась своей победой.

### ГЛАВА XXVII

Показания Необулы помогли Продику выбраться на верный путь. Софист ни на миг не поверил в виновность Аспазии, но проницательность и хладнокровие гетеры заслуживали всяческих похвал. Каждый аргумент Необулы казался безупречным сам по себе, а вместе они выстроились в удивительно стройную и правдивую схему. Поистине, софистика была не мужским делом! И софисту не стоило доверять другому софисту.

Необула сумела разгадать природу чувств, которые Продик питал к Аспазии, и сумела затмить его разум. Но и чары сирены не заставили бы софиста поверить, что его любимая способна убить человека.

Предстояло найти ответ на главный вопрос: зачем Необуле понадобилось направлять его по ложному следу. А что если убийцей была сама гетера? Одно было совершенно ясно: Необула хотела свести счеты со своей хозяйкой.

Поразмыслив, Продик все же вписал имя гетеры в список главных подозреваемых. Остальных он уже успел вычеркнуть.

Горькая обида, которая много лет росла в его душе, Увяла, словно цветок при первом дуновении весны; Про-Дик больше не держал зла на женщину, отвергшую когда-то его любовь. Под полуденным солнцем, вдыхая расплавленный, словно камедь, воздух, софист поклялся никогда больше не идти на поводу у плоти, пусть хоть сама нагая Афродита предстанет перед ним во всей красе. Аспазия отсыпалась после тяжелой ночи. Поздним вечером, под желтой луной, подле увитого плющом колодца, когда вокруг разливался аромат жасмина, она казалась Продику прелестным призраком, тенью давно минувших времен, и от звука ее голоса по всему телу пробегала дрожь. Они болтали и смеялись, вспоминая былые дни, как положено старым друзьям. Ее глаза ловили его взгляд, ее рука лежала в его руке. Впервые в жизни софист был по-настоящему счастлив и мечтал лишь о том, чтобы счастье продлилось вечно.

Аспазия понимала, что творится с Продиком, куда лучше, чем он сам. Софист слишком долго жил один, слишком сильно дорожил своей свободой, чтобы менять привычки на старости лет. Но природа недаром наделила Аспазию даром читать в мужских сердцах, а Продик, лучше других умевший притворяться и скрывать свои чувства, все же оставался мужчиной.

Аспазия решила посетить храм Аполлона в Дельфах, чтобы узнать о будущем. Она не была у оракула больше десяти лет. Путь в Дельфы была неблизкий, и Продику пришлось прожить в одиночестве почти неделю. Аспазия вернулась задумчивая и грустная. Переодевшись в черную кимберию, она подсела к софисту, чтобы рассказать о путешествии. К храму вела извилистая горная тропа, и утомленная тяжелой дорогой босая путница переступила его порог с последними лучами заходящего солнца. Аспазия не стала скрывать от старого друга цель своей поездки: она хотела узнать, когда умрет.

Эта новость повергла Продика в настоящую панику.

— Не понимаю, что тебя так удивило, друг мой, мягко произнесла женщина. — Все хотели бы это знать.

— Так уж и все?

— Ну конечно, все, и ты — не исключение.

— Ничего подобного, — горячо возразил софист. — Я знаю, что когда-нибудь умру, и мне этого вполне достаточно.

— К мысли о смерти нужно привыкнуть, — улыбнулась Аспазия. — Это не то путешествие, в которое стоит отправляться без должной подготовки. А приготовиться к смерти — значит принять ее.

— Не стану я ничего принимать.

— Тебе придется.

Аспазия хотела взять Продика за руку, но тот сердито отвернулся и проворчал:

— Даже если какой-нибудь оракул знает, когда я умру, я ни за что не стану спрашивать об этом.

— Ты напоминаешь мне скептика Дафнита. Эта история произошла сто лет назад. Ты ее, должно быть, слышал?

— Нет, но с удовольствием послушаю сейчас.

— Так вот — этот Дафнит отправился к оракулу, чтобы поразвлечься, на самом деле он не верил ни в предсказания, ни в магию Аполлона. Он в шутку спросил оракула: «Где мне искать моего коня?» В действительности никакого коня у Дафнита не было. Впавшая в транс пифия дала ответ: «Ты найдешь своего коня, но вскоре упадешь с него и погибнешь». Дафнит покинул Дельфы, посмеиваясь над священным оракулом и глупцами, верившими в предсказания. По дороге он повстречал свиту царя Атала, которого часто высмеивал. Царь, давно мечтавший поймать Дафнита, решил воспользоваться случаем и рассчитаться с наглецом за все насмешки сразу Он приказал своим стражникам схватить скептика и сбросить его со скалы под названием Конь.

— Что ж, это очень интересная и поучительная легенда, — заметил Продик. — Она говорит нам, что никому не дано избежать своей судьбы. На самом деле я слышал эту историю, но тогда ее рассказывали иначе.

— Вот как?

— На самом деле Дафнит не спрашивал оракула ни о каком коне, он задал вопрос, который тревожит всех нас: «Когда я умру?» Оракул ответил, что Дафнит погибнет, упав с коня. Дафнит вздохнул с облегчением, ведь он даже не умел ездить верхом и не собирался учиться в свои семьдесят лет. Возвращаясь назад по горной дороге, скептик увидел скалу под названием Конь и уловил смысл предсказания. Старик перепугался. В глазах у него потемнело, а ноги подкосились в предчувствии неизбежной смерти, ведь пророчество Аполлона сбывалось. Дафнит не удержался на краю скалы и рухнул вниз. Несчастный глупец. Он погиб, потому что поверил в судьбу.

Аспазия хохотала — она сразу догадалась, что Продик сочинил свою историю на ходу.

— Ты отвратительный рассказчик, — заявила женщина.

Сколько ни размышлял Продик об оракулах и предсказаниях, ответа на главный вопрос он не находил. Вера в судьбу существенно облегчала жизнь, избавляла от мук совести и необходимости делать выбор. Протагор верил только в случай, но не уставал предостерегать своих учеников, чтобы они не слишком на него полагались. Наставник софистов говорил, что умному человеку везет куда чаще, чем глупцу.

Как-то раз софисты повстречали человека, утверждавшего, что он с рождения отмечен печатью судьбы. Бедолага уже успел потерять руку и ногу, однако всевозможные несчастья продолжали сыпаться на него, как из рога изобилия. Выслушав жалобы незнакомца, Продик едко заметил, что судьба не благоволит к тому, кто не имеет привычки смотреть под ноги.

Или взять людей, убитых молнией. Такая беда может случиться с каждым, но куда приятнее верить в гнев Зевса-громовержца: «Нечестивец заслужил свою участь». А если за жертвой не водилось никаких грехов, можно было сказать, что Зевс метнул молнию случайно, потому что встал не с той ноги или с утра поссорился с ревнивицей Герой. Люди предпочитали видеть себя жертвами низменных страстей богов, но не игрушками слепого случая.

— Это верно, — рассуждал Продик, — однако молнии бывают только во время грозы и довольно редко поражают людей. Выходит, Зевс не так уж меток. Да и кто их боится на самом деле, этих молний?

Продик рано столкнулся со страшной неизбежностью: смерть его матери была внезапной и совершенно необъяснимой. После обеда она задремала в саду и больше не проснулась. Мать ничем не болела, ни на что не жаловалась. Ее сердце просто перестало биться. Продик потом долго боялся приближения ночи, опасаясь, что и сам умрет во сне.

Нам не зря даны воля и воображение, — учил Протагор. — Каждый из нас способен выстроить жизнь, как ему хочется, и победить любой страх.

Продик ворочался в постели, вспоминая верного друга и наставника, сгинувшего среди волн, единственного человека, гибель которого он долго оплакивал. Жизнь в мире, где все предопределено, не прельщала софиста. Такая жизнь была подобна пьесе, развязка которой становится очевидной еще в первом акте. Предопределение Убивало любопытство и лишало человека надежды. Напрасно люди приходили к оракулу вопрошать о будущем. Вот и Аспазия угодила в ту же ловушку.

Как-то ночью, когда Продик лежал без сна, размышляя о даре предвидения — единственной человеческой способности, которая обостряется к старости, — случилось то, чего он боялся больше всего на свете, и на что уже не смел надеяться: Аспазия вошла в его спальню и легла рядом с ним.

То было слияние не тел, а душ, в их ласках не было страсти, только нежность и печаль. Они молчали: перед вечной тенью, что поджидала обоих, были бессильны любые слова. В тишине они познавали друг друга и любили друг друга.

### ГЛАВА XXVIII

Здоровье Аспазии неумолимо ухудшалось, и визиты Геродика становились все чаще. Хозяйка «Милезии» не желала говорить о своей болезни даже с Продиком. Софист все чаще хмурился, а его подруга улыбалась и шутила, как ни в чем не бывало. Женщина знала, что скоро умрет, и старалась насладиться отпущенными днями. Софист, привыкший по любому поводу роптать на судьбу, жаловался всем и каждому, кроме самой Аспазии. Мужество подруги придавало ему храбрости.

В последние недели Аспазии стало намного хуже. Она билась в мучительном кашле и почти не вставала с постели. Когда болезнь немного отступала, женщина готовила себе питье из целебных трав и вина, чтобы заглушить разрывавшую нутро боль. Однажды Продик услышал, как она рыдает в передней. К тому времени Аспазия исхудала и ослабела настолько, что почти не могла ходить. Но, когда Продик предлагал ей свою помощь, хозяйка «Милезии» отвечала, что она вполне способна позаботиться о себе сама. Софист не раз пытался поговорить с подругой о ее болезни, но Аспазия осторожно переводила разговор на другую тему. Женщина притворялась спокойной и веселой, оживленно щебетала и даже пыталась шутить. Продик малодушничал и старался сбежать. Видеть любимую в таком состоянии было невыносимо больно.

Исхудавшая и слабая Аспазия передвигалась по дому, словно тень. Как-то поздним вечером Продик засиделся в библиотеке, размышляя об убийстве Анита. Он как раз пытался представить, как преступник с ножом в руке смог незаметно подкрасться к своей жертве, и не сразу понял, что женщина уже довольно долго стоит у него за спиной.

— Я не слышал, как ты вошла, — извинился софист.

— В полночь совы крадут наш слух. Произнеся эти загадочные слова, Аспазия тут же, без всякого перехода, спросила, как продвигается расследование. Софист признался, что оно окончательно зашло в тупик. Ни Аристофан, ни Диодор не убивали Анита, а чтобы обвинить кого-нибудь другого, не хватало фактов. Аспазия велела Продику рассказать все, что ему удалось выяснить.

— Судя по всему, это дело как-то связано с неудавшимся побегом Сократа.

— Это и так понятно. Но Сократ сам отказался бежать.

— Говорят, был еще один заговор. Похоже, Анит что-то заподозрил. Антемион сказал, что его отец хотел раскрыть заговор и доказать, что Сократ — изменник и лжец.

Аспазия откашлялась, прикрыв рот ладонью, и спросила:

— Но ведь Сократа уже казнили — зачем же понадобились новые доказательства?

— Должно быть, Анит разгадал тайный замысел Сократа: принять смерть, чтобы остаться в глазах потомков жертвой несправедливости.

— Ясно. Значит, Анита убили заговорщики, если они существуют, конечно.

— Вот именно. Все, что у нас есть, — досужие домыслы. Антемион считает, что его отец нашел какую-то важную улику, но потом она пропала.

— Очень интересно. Похоже, мы нашли мотив преступления.

— И по-прежнему не можем найти преступника. Правда, в последнее время я стал подозревать одного человека, но доказательств у меня нет, зато у подозреваемого есть железное алиби.

— Необула. Продик кивнул.

— А почему ты стал ее подозревать?

— Все очень просто. Она обвинила в убийстве Анита тебя. И была, надо сказать, весьма убедительна.

Аспазия схватилась за сердце и несколько мгновений растерянно моргала.

— Не может быть, она так не думает.

— Разумеется, нет. Необула пыталась направить меня по ложному следу. Вот только зачем?

Аспазия задумалась.

— Эта женщина любит опасные игры. Она сложная. Да что там, она просто сумасшедшая! Вбила себе в голову, что для спасения «Милезии» нужно принести человеческую жертву. К тому же, девчонка метит на мое место.

— Это многое объясняет.

— Но с другой стороны, никто, кроме нее, с «Ми-лезией» не справится. Необула очень горда и никогда не сдается.

— Но она недостойна! — возмутился Продик. — Она желает твоей смерти!

— Моя смерть куда ближе, чем она думает. Софист принялся умолять подругу не говорить таких страшных вещей.

— Милый Продик… — Женщина погладила его по щеке. — С тобой я по-настоящему счастлива, впервые за много лет.

— Я тоже.

Они постояли, сплетя пальцы, лаская друг друга взглядом, но Аспазия, внезапно спохватившись, хлопнула в ладоши.

— Чуть не забыла! Есть новости. Я нашла кое-что интересное. Собирайся, мы идем в «Милезию».

Чтобы навести порядок в доме свиданий после бурной ночи, требовалось никак не меньше дюжины рабов. Кратеры вновь наполняли вином, в лампы наливали масло, инструменты настраивали, мебель расставляли по местам. Аспазия показала софисту гобелен, изображавший игривую любовную сцену. Продик подошел поближе и заметил, что у ковра обгорели края.

— Я обнаружила это вчера, когда обходила дом, — пояснила Аспазия.

В нескольких шагах от стены стоял огромный напольный канделябр с семью свечами. Проследив за взглядом Продика, Аспазия кивнула.

— Я сначала тоже так подумала. Потом позвала Филиппа и спросила, что здесь произошло. По его словам, кто-то задел канделябр, и свеча подпалила гобелен. «А когда это случилось, Филипп?» — спросила я. Он стал вспоминать и наконец объявил, что ковер загорелся в ночь смерти Анита, за несколько часов до убийства. Тогда Филипп ничего не заподозрил. Из канделябра выпали три свечи, одна подпалила ковер, а другая упала на одного из гостей, он сильно обжегся.

— А почему подсвечник упал? На вид он вполне устойчивый.

— Одна гетера споткнулась о сидевшего на полу гостя и толкнула канделябр. Между прочим, это была Необу-ла собственной персоной.

— Забавное совпадение.

— Ну да, — улыбнулась Аспазия. — Одно из тех таинственных совпадений, которые наводят на определенные мысли. Филипп подробно описал мне все, что произошло: на гостя закапал расплавленный воск, тот заорал во весь голос, началась паника. К счастью, подоспел привратник, облил беднягу водой, а остатки выплеснул на гобелен. Потом все от души посмеялись.

— Значит, Филипп на какое-то время покинул свой пост.

— Вот именно.

Продик внимательно осмотрел канделябр. Он представлял собой тяжеловесную конструкцию на четырех ногах, отлитую из бронзы. Уронить такую штуку было непросто.

— А этот подсвечник всегда был здесь?

— Нет, раньше он стоял поближе к ковру. Но теперь его отодвинули, на всякий случай.

— Предположим, Необула сделала это специально, чтобы поднять панику. В это время в дом мог проникнуть настоящий убийца.

Если бы в «Милезию» кто-то проник, Филипп непременно заметил бы его. Продик размышлял вслух:

Преступник мог воспользоваться паникой и тихонько проскользнуть во внутренние покои, прикрываясь плащом и спрятав нож под одеждой. Потом он где-нибудь затаился и дождался, пока Эвтила принесет Аниту вина.

И кто он, этот преступник?

Необула ни за что не признается. Но она знает, и мы должны этим воспользоваться.

### ГЛАВА XXIX

Ненависть к женщине, что с неслыханной дерзостью пыталась обольстить его, использовать в своих гнусных целях и погубить, помогала софисту думать, придавала сил, обостряла чутье. Злость заставила Продика преодолеть оцепенение и с удвоенным рвением взяться за дело. Какое наслаждение он испытает, отдав коварную сирену в руки правосудия! Однако софист старался не увлекаться мечтами о мести. Расследование требовало хладнокровия.

«Жажда власти сродни любовному влечению», — сказала гетера.

Вечером, пока Необула развлекала посетителей, софист проник в ее дом. Продик и сам не знал, что ищет, — ему казалось, что, бросив взгляд на жилище гетеры, он сумеет лучше ее понять.

Дом Необулы напоминал логово игривой и капризной пантеры, в нем царили роскошь и беспорядок. Еще с порога в глаза софисту бросился бюст молодого Алкивиада работы самого Фидия, который, верно, обошелся хозяйке в целое состояние. Продик внимательно осмотрел одну за другой все комнаты и надолго задержался в спальне. На ложе, поверх тонкого шерстяного одеяла, валялись забавные кисточки для косметики и баночки с разноцветными красителями, вдоль стены расположились многочисленные сундуки, доверху забитые одеждой, а в специальной корзине хранились дюжины лиловых шарфов из тончайшего шелка. Софист, не сдержавшись, прижал один к щеке. В ногах ложа стоял большой таз для умывания. Изящные деревянные вешалки едва выдерживали тяжесть бесчисленных пеплумов и туник, туалетный столик украшало большое бронзовое зеркало в сандаловой раме. На широкой полке Продик обнаружил ножницы, ленты, костяные гребни, маникюрные ножички, сетки для волос и массу других предметов, о предназначении которых оставалось только догадываться: вроде подушечки из кроличьей шкурки или крошечной щеточки размером с ноготь. Судя по всему, наука женского кокетства развивалась куда быстрее астрономии и медицины.

В маленьких шкатулках хранились ожерелья, диадемы, ручные и ножные браслеты, серьги с драгоценными камнями. Целые горы золота. В специальном ящике покоились инструменты для растапливания воска, ступки для приготовления мазей, затейливые флакончики для благовоний. Продик недовольно поморщился, увидев свое изрезанное морщинами лицо в круглом настенном зеркале.

Внезапно внимание софиста привлекла деревянная лестница из десяти ступеней, прислоненная к стене в передней. Зачем она понадобилась в доме, где до верхней полки любого шкафа можно было достать, не поднимаясь на цыпочки? Осмотрев еще раз все комнаты, Продик только убедился в своей правоте. Поразмыслив над забавным парадоксом, софист сказал себе: «Я искал разгадку наверху, но ведь лестницы существуют и для того, чтобы спускаться вниз». Продик в третий раз принялся обходить дом, на сей раз — в поисках люка или двери, ведущей в подвал. Люк отыскался в спальне, под ворсистым ковром. Опустившись на колени, софист с силой потянул металлическое кольцо, и в нос ему ударил тяжкий запах давно не мытого человеческого тела. Продик осторожно опустил в люк масляную лампу, которой освещал комнаты во время обыска. В углу темного подвала жался худой, полуодетый старик. Узник робко приблизился к полоске света, и софист смог разглядеть его лицо. Это был Сократ.

### ГЛАВА XXX

Меня зовут Лицин, мне семьдесят три года, и я илот[[93]](#footnote-93). Моя родина — Спарта, там я прожил всю жизнь. Вскоре после рождения отец продал меня одному богачу, у которого уже было тридцать рабов-илотов. Моего хозяина звали Филипп, он был аристократ, благородный и образованный, воспитанный в Мегаре; получив в наследство огромные владения в Спарте, он поселился там со своей женой и рабами и занялся земледелием. Хозяин сам обучил меня грамоте и хорошим манерам, а потом определил прислуживать гостям. Войну я застал пятидесятилетним стариком, и мне мог бы позавидовать любой раб в нашем городе: я был неплохо образован, читал книги из хозяйской библиотеки и не знал тяжелой работы: в мои обязанности входило следить за порядком в конюшнях, точить ножи и вовремя наполнять светильники маслом.

В один прекрасный день меня назначили управляющим. Я следил за тем, чтобы гости моего господина ни в чем не нуждались, содержал дом в идеальном порядке, и хозяин неизменно оставался доволен мной. После смерти Филиппа все унаследовал его единственный сын, полная противоположность отцу: деспотичный, жестокий, властолюбивый и злопамятный; с рабами он обращался хуже, чем со скотиной. Для него не было большей радости, чем терзать и мучить тех, кто имел несчастье оказаться в его власти. Даже со своими любовниками этот человек был так жесток и груб, что ни одна женщина и ни один мужчина не соглашались прийти к нему на свидание во второй раз, а из рабов молодого хозяина особенно сильно боялись те, кому довелось побывать на его ложе. Я всю жизнь честно служил Филиппу и в память о нем стал честно служить его сыну, хотя в душе и не желал признавать нового хозяина.

Молодой господин часто срывал на мне злобу, унижая меня самыми изощренными способами. Но я сделался бесчувственным, словно камень. Я продолжал выполнять свои обязанности, не выказывая недовольства, и лишь изредка спрашивал себя, когда же смерть приберет моего хозяина. Рабы смогли немного перевести дух, лишь когда он отправился воевать. С войны хозяин вернулся целым и невредимым и на радостях стал закатывать пышные пиры, перетекавшие в разнузданные оргии. Тем временем я потихоньку старел и не ждал от жизни слишком многого. Никого не обижал, ни с кем не ссорился, и врагов у меня не было: откуда им взяться у тихого и скромного раба? У меня была крыша, чтобы спрятаться от непогоды, а спать можно было и на полу. Я ни перед кем не заискивал, ни у кого не был в долгу. Так прошла вся моя жизнь, и пусть гнев богов падет на меня, если я лгу. Все продолжалось бы, как прежде, и по сию пору, если бы судьба не забросила меня в ваш город. Должно быть, эта часть моей повести интересует вас больше всего. Что ж, постараюсь рассказать обо всем по порядку, хотя, если честно, я так до конца и не понял, что же со мной приключилось.

Как-то раз к хозяину пожаловали двое незнакомцев. Это были афиняне, молодые и знатные. Мое имя дважды прозвучало в их разговоре, прежде чем хозяин велел меня позвать. Увидев меня, гости отчего-то пришли в изумление, принялись разглядывать меня, крутить из стороны в стороны и даже щупать. Мой господин был удивлен не меньше моего и никак не мог взять в толк, зачем афинским аристократам понадобилось ехать в Спарту, чтобы поглазеть на никчемного старого раба. В ответ гости неловко отшучивались. Смекнув, что речь идет о каком-то важном и весьма подозрительном деле, хозяин назначил за меня цену, как за двадцать молодых и сильных невольников. Гости молча раскрыли свои кошели, и хозяин, надо думать, пожалел, что не запросил вдвое, а то и втрое больше.

Я отправился в Афины с новыми хозяевами, а сам думал: не видать больше старику Лицину дома, в котором он вырос. Чего хотели эти чужестранцы, я понял не скоро. Меня привезли в какой-то дом и посадили на цепь, словно собаку. Рядом поставили ведро воды. Вскоре меня начал терзать голод. Три дня я просидел в полном одиночестве, на четвертый появился незнакомец, судя по одежде, тоже афинянин, который еще на пороге вскрикнул от удивления и заявил, что вовсе такого не ожидал, но чего именно не ожидал — не объяснил. Этот человек велел мне вымыться, потом взвесил меня, дал мне пару фиников и подлил в ведро свежей воды. Потом он ушел, а голод мой от жалких фиников только усилился.

Прошло еще пять дней. Я понял, что меня бросили на произвол судьбы, и решил покончить с собой. Сначала я попытался задержать дыхание, но изможденное тело не подчинялось мне. Удавиться цепью тоже не получилось: она оказалась слишком короткой. Звать на помощь было бесполезно: я знал, что на мои крики никто не придет, и я только зря потрачу силы. Оставалось разбить голову об стену, но и здесь я не преуспел, только лишился чувств на некоторое время.

Когда тот человек снова принес мне воды, я взмолился, чтобы он убил меня, но мой тюремщик только ущипнул меня за щеку и отметил, что я сильно похудел. Если б вы только знали, что мне пришлось вынести! Я страшно ослабел и целыми днями валялся на полу, мечтая о еде. Когда я уже потерял счет дням, пришли мои новые хозяева, осмотрели меня и, кажется, остались довольны. Один достал ножницы и подровнял мне волосы и бороду. Потом меня вымыли и расковали. Один из хозяев, помоложе, сказал, что если я буду во всем им подчиняться и не стану кричать, меня ждет такая легкая и приятная смерть, о которой только может мечтать человек.

Какое же облегчение я тогда испытал! Я спросил, когда и где умру, и мне ответили: через два дня, в афинской тюрьме.

Меня связали, засунули в мешок, и бросили в повозку. Всю ночь меня куда-то везли. По пути мы задержались на целый час. Кажется, у повозки сломалась ось. Ее починили, и мы снова поехали, на этот раз куда быстрее. Мои бедные кости бились о дно повозки, я даже боялся выпасть. Под утро меня пересадили в маленькую тележку и опять куда-то повезли. Было очень страшно, мысли путались, и я уже потерял надежду на быструю и безболезненную смерть. Потом меня выкинули из тележки, я решил, что меня убьют прямо сейчас, мечом. Но вместо этого меня поставили на ноги и велели помалкивать. Начинало светать, хозяева нервничали и торопились. На голову мне надели мешок, хорошенько закрепив его веревкой у меня на шее так, что я едва мог вздохнуть. Тогда я не понял, зачем это понадобилось, ведь руки у меня и так были связаны, и убежать я не мог, но теперь все стало ясно, они боялись, что кто-нибудь увидит мое лицо.

Меня куда-то повели, наверное, в тюрьму. И тут случилось нечто ужасное. Кто-то крикнул: «Держи их!», началась потасовка. Зазвенели мечи. Я — даром, что был связан, — бросился бежать, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал.

Я бежал, куда придется, не подозревая, что двигаюсь как раз в ту сторону, куда меня вели. Ничего удивительного, что вскоре я наткнулся на тюремную стену. Я повалился на землю и долго пролежал, почти не помня себя, пока меня грубо не подняли на ноги и не сорвали у меня с головы мешок. Кто-то со всей силы дал мне затрещину и выбил два зуба, у меня весь рот был полон крови. Увидев мое лицо, этот тип страшно удивился, схватил меня за бороду и притянул к себе, словно хотел рассмотреть получше. Я все еще не понимал, где нахожусь, и не знал, что передо мной стражник из афинской тюрьмы. Этот человек, которого я никогда прежде не видел, воскликнул: «А, это ты!», будто давно уже с нетерпением меня поджидал. Он был очень взволнован и все расспрашивал меня, где остальные и почему я пришел один. Я не мог произнести ни слова, только ловил ртом воздух. Стражник взял факел и принялся озираться по сторонам, но так ничего и не увидел. По-моему, он был в ярости. Когда стражник повернулся ко мне, я решил, что он снова станет меня бить, но он только схватил меня за плечи и начал трясти, снова и снова повторяя свои вопросы. Я молчал — мне было уже все равно. Этот человек, бранясь сквозь зубы, отвел меня в тюрьму, запер в темной камере и ушел — наверное, отправился на поиски тех, кто меня привез.

Так я оказался в жуткой и сырой темнице; все казалось, будто надо мной подшутил какой-то злокозненный бог. Получилось, что я бежал от тюрьмы, чтобы прийти в нее по доброй воле. Надежды на спасение не осталось. Я был измучен, голова раскалывалась, сердце билось слишком часто, и ноги меня не держали. Я рухнул на холодный пол, громко призывая смерть. Впрочем, вскоре мне стало немного лучше. Сначала меня били судороги, потом отпустило, и я лежал ничком, уже ничего не чувствуя, словно мое тело больше мне не принадлежало.

Внезапно я услышал чей-то шепот. Оказывается, я был в камере не один. Кто-то тихонько звал меня из-за решетчатой перегородки. Хотите послушать про этого человека? Что ж, воля ваша. Я слышал, как узник несколько раз позвал меня: «Добрый человек…», и не знал, стоит ли ему отвечать. Но бедняга все звал, настойчиво и жалобно, все повторял: «добрый человек», и я не выдержал. Собравшись с силами, я подполз к перегородке. Тьма была такая, что я едва различал контуры предметов. «Кто ты, друг мой?» — спросил меня сокамерник. Я начал рассказывать, но голос меня не слушался. Мой сосед удивился, узнав, что я из Спарты, и даже спросил, не военнопленный ли я. Я сказал, что да, хотя и сам толком не знал, к какому классу заключенных себя отнести. Сокамерник проникся ко мне участием и все старался меня утешить. Сам он покидал Афины лишь однажды, когда уходил воевать, а в Спарте не бывал никогда, но признался, что ему очень нравятся наши порядки. Мой сосед говорил, что все народы должны учиться друг у друга, и Афинам есть чему поучиться у Спарты, например, тому, как устроено наше государство, армия и повседневная жизнь. Странно было слышать от жителя Афин подобные вещи, и я подумал, что, если бы и другие его соплеменников думали так же, войны могло и вовсе не быть. Мой сокамерник спросил, долго ли я проведу в тюрьме, и я ответил, что утром мне, по счастью, дадут выпить яд, чтобы я принял быструю и легкую смерть. Тогда он спросил, не нужно ли мне чего-нибудь. Это был первый человек, который отнесся ко мне по-доброму, с тех пор как меня купили у прежнего хозяина. Я попросил его развязать меня, и он с радостью это сделал, протянув руки сквозь прутья решетки. Он терпеливо боролся с тугими узлами, пока не освободил меня от пут. Потом узник ощупал мое лицо и внезапно отпрянул, вскрикнув от ужаса.

Тут за дверью послышались шаги. В камеру вошел стражник, злой и встревоженный. При свете его факела я смог разглядеть за решеткой человека, похожего на меня, как две капли воды. В тот же миг стражник схватил меня и принялся бить об стену, крича: «Говори! Отвечай же! Почему ты пришел один? Кто тебя привез? Говори, а не то я тебя прямо здесь задушу!» Заплетающимся языком я поведал ему обо всем, что со мной приключилось. Тюремщик внимательно меня выслушал и долго пребывал в замешательстве, а потом сказал: «Ну вот что. Если ты хоть одной живой душе проболтаешься, что был здесь, я тебя убью. Ты понял? Так и будет, клянусь Зевсом. А теперь беги, убирайся из города на все четыре стороны, и чтобы твоей грязной ноги здесь больше никогда не было». Можете мне поверить, я бросился бежать так быстро, как только мог, правда, мог я не слишком быстро.

Я все не мог поверить. Свободен, снова свободен! Но что ждет меня теперь? Кто на этот раз схватит меня и как примется мучить? Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Вскоре я набрел на какой-то лесок. Я упал на землю, поддеревом, и провалялся там до самого утра.

Рассвело, а я даже не знал, где нахожусь. Меня разбудила женщина с корзиной в руках, но я тут же вскочил на ноги и бросился бежать. Скоро я добрался до города; не знаю, должно быть, дело было в моем лице, но, повстречавшись со мной, все приходили в ужас и бросались прочь так же быстро, как и я сам.

Потом меня снова поймали и привели в какой-то дом, богатый дом, похожий на этот, его хозяин тоже хотел выслушать мою историю. Известно ли мне, как его звали? Ну конечно, его звали Анит, на вид лет пятидесяти, крепкий, но добрый. Со мной он обращался хорошо: покормил, предложил воды и позволил как следует отдохнуть. Анит очень обрадовался, когда меня привели; он сказал, что поведет меня в суд, чтобы обличить заговорщиков, которые хотели освободить из тюрьмы какого-то опасного преступника. Я догадался, что речь идет о моем двойнике. На следующий день мне предстояло отправиться в суд, который, если я правильно понял, находится на вершине холма, и повторить свою историю перед судьями, но из этой затеи ничего не вышло, потому что на рассвете за мной явился тот человек, что приносил мне воду, пока я сидел на цепи. Он был вооружен и приказал мне следовать за ним. Я решил, что его прислал Анит, но он сказал, что Анит мертв.

Как ты сказал? Ну да, его звали Алкивиад. Так его называла женщина, хозяйка последнего дома, в котором меня держали. Это безумие повторялось снова и снова. Так вот, этот Алкивиад хотел, чтобы я поправился и перестал походить на узника, которого к тому моменту уже казнили, потому что один мой вид, как он сказал, таил страшную опасность для всех. Красивая женщина подровняла мне бороду и дала вот эту одежду, а потом заперла меня в подвале. Она пообещала, что, как только я совсем изменюсь, меня отвезут обратно в Спарту и выпустят на свободу. Я думал, что из подвала мне точно не выбраться. Потом пришли вы и освободили меня, вот и вся история. А что вы собираетесь со мной сделать?

— Мы сегодня же отправим тебя в Спарту и дадим с собой достаточно денег, чтобы ты никогда больше не попадал в рабство, — пообещал Продик.

### ГЛАВА XXXI

Кеосскому софисту нравилась эпитафия, которую Алкивиад заранее написал на собственном надгробии. Камень привезли из далекой Фракии вместе в телом стратега:

Родина, если бы я мог начать все сначала, я бы снова стал изменником.

Вот так, красиво и честно, словно признание любви.

С тех странных похорон прошел целый год. Теперь, оглядываясь назад, Продик спрашивал себя, почему закрытый гроб ни у кого не вызвал подозрений.

Половина членов Ассамблеи выступила против того, чтобы Алкивиада похоронили в Аттике. Другая половина, тосковавшая о славном прошлом, утверждала, что знаменитый стратег, отпрыск рода Алкмеонидов, к которому принадлежал сам Перикл, достоин быть погребенным на родине. Чтобы избежать волнений, было решено похоронить Алкивиада в городе, но в неосвященном месте и без всяких почестей. Немногочисленные друзья стратега-изменника привезли из Фракии гроб с его телом. Еще в Пирее процессию окружили стражники. Они образовали живой коридор от порта до самого города. Почти все жители Афин собрались на стене, совсем как в начале спартанской осады. В толпе слышался глухой ропот. Никто не понимал, что происходит; стражники были наготове, чтобы расправиться со смутьянами, которым вздумается отнять гроб и бросить его в море или, наоборот, громко оплакивать мертвого стратега, — но все было спокойно. Лошади, тащившие катафалк, двигались медленно, то и дело всхрапывая и нервно дергая мордами: им не нравилось скопление народа. Похоронная процессия с трудом пробиралась сквозь толпу.

Вопреки опасениям, волнения так и не начались. Никто не пытался напасть на друзей покойного, никто не посмел оскорбить их даже словом.

Мальчишки расселись на окружавших кладбище валунах и ветвях деревьев, с нетерпением ожидая, когда начнут читать прощальную речь героя-предателя. Взрослые готовы были простоять под полуденным солнцем хоть целую вечность, чтобы услышать последнее послание Алкивиада миру. Когда гроб опустили в землю, вперед вышла Необула:

— Здесь лежит свободный человек, всю жизнь хранивший верность лишь самому себе. Алкивиад во всем хотел дойти до самого конца. В нем горело божественное пламя. Этот человек презирал посредственность, дышал полной грудью и вечно ходил по самому краю пропасти. В его жизни была только одна любовь — Афины.

Потом Аспазия прочла письмо Алкивиада, написанное много лет назад, в изгнании. То было прощание стратега с родным городом.

Афиняне,

Буря пьянит меня. Я скачу галопом по бескрайним лугам и горным тропам, и ветер не поспевает за мной, а над головой вьются чайки. Земля здесь дикая и юная, а море бесконечно.

По воле рока я разлучен с Афинами, единственным городом, который я люблю, разлучен навсегда. Одинокий корабль навеки унес меня от родного берега в далекую Фракию. Вы превратили меня в изгнанника, и нигде на земле нет мне приюта. Я скитаюсь из края в край. Глядя на море со стен мрачной Херсонесской крепости, я думаю, что там, за линией горизонта, остался афинский порт. Однако я привык жить по собственному разумению, не признавая над собой ни законов, ни правителей, и ставить свободу выше долга и верности.

Много лет подряд ложь и клевета завистников преследовали меня по пятам, низкие душонки добились своего и отняли у меня мою армию как раз в тот момент, когда я мог принести своему городу великую победу.

Слушая крики чаек над пустынными горами, я вспоминаю, как погибали наши корабли, брошенные на милость волн. Порой один воин может подать пример храбрости целой армии. Я всегда находил слова, чтобы вселить мужество в сердца дрогнувших солдат. Сколько раз нам казалось, что все потеряно, но поутру снова вставало солнце, и усталые, измученные люди сбрасывали оцепенение, чтобы с новыми силами броситься в битву.

Давно не стало изнеженного юноши, воспитанного на вилле Перикла, в роскоши и неге. Теперь кожа моя загрубела от солнца и морского ветра. Я еще молод и полон сил. Но жизнь моя превратилась в бесконечную пустыню. Ни надежд, ни иллюзий у меня не осталось.

Я всегда считал, что оглядываться назад трусливо и глупо — все равно, что пытаться остановить поступь Кро-носа, — а говорить правду, которую никто не желает слушать, благородно, но совершенно бесполезно. Мне не интересно, о чем судачат клеветники и невежды: тратить силы на спасение своего доброго имени я не стану. Да, я ошибался и, порой, поступал нечестно, но жил я лишь для того, чтобы вернуть афинской эгиде былую славу. Теперь вы обвиняете меня во всех своих бедах, но я не намерен держать ответ за ваши ошибки.

Я обращаюсь к вам, ибо знаю: конец мой близок; недавно мне приснилось, как женщина укрывает мой труп плащом. Я молю богов лишь о том, чтобы не остаться навеки в Херсонесе, вдали от родины. Впереди нет ни Лисандра[[94]](#footnote-94) с его войском, ни Никия[[95]](#footnote-95), ни Гиппарха[[96]](#footnote-96), и никакого другого царя, ни персидского сатрапа, ни гоплита[[97]](#footnote-97), что пронзит меня копьем на поле брани… Теперь, когда моя жизнь неумолимо клонится к закату, я знаю, мне не суждено встретить смерть среди сражеьия и увидеть, как моя кровь мешается с кровью убитого врага; все будет по-другому, ибо, согласно Калину Эфесскому[[98]](#footnote-98):

Нити судьбы сплетают вещие мойры,

смертные над нею не властны,

и не властны над нею боги.

### ГЛАВА XXXII

Выяснить, жив Алкивиад или нет, не составляло труда: достаточно было вскрыть его могилу. Торопиться было некуда, ведь Продик почти не сомневался, что гроб стратега окажется пустым. В Афинах только он и Необула знали тайну Алкивиада. Продик на чем свет стоит ругал себя за тугодумие. Почему он раньше не догадался, что это Алкивиад убил Анита? Софист даже не рассматривал этой гипотезы, ведь стратег был мертв; он сам присутствовал на его похоронах. В этом состояла главная ошибка Продика: он не учел того, что Алкивиад, даже мертвый, лучше всех подходил на роль убийцы. Стратег был политическим противником Анита — врагом демократии и несостоявшимся диктатором, — и близким другом Сократа; Алкивиад всегда отличался умом, жестокостью и храбростью, ему ничего не стоило пробраться в дом свиданий и хладнокровно заколоть человека, к тому же Необула охотно согласилась бы стать сообщницей своего любовника.

Алкивиад, изменник и враг государства, мог вернуться в Афины только мертвым. После смерти последнего сильного лидера, способного сплотить вокруг себя олигархов, демократы могли вздохнуть спокойно. Подложные похороны оказались блестящим тактическим ходом. Согласно этой гипотезе, опальный стратег мог вернуться в Афины тайком, при помощи своих соратников, однако… Разве после стольких лет в изгнании у Алкмеонида могли остаться соратники? Если только Необула.

До сих пор оставалось неясным, кто спланировал убийство: Алкивиад или сама гетера. Продик был готов допустить, что стратег оказался лишь орудием в руках любимой женщины.

Вскоре насущные и печальные заботы отвлекли софиста от расследования: здоровье Аспазии резко ухудшилось.

Из-за двери спальни не доносилось звука. Чтобы не мешать лекарю, Продик вышел в сад и принялся расхаживать вокруг бассейна; время от времени он останавливался, чтобы перекинуться парой слов со встревоженным слугой, садился на бортик, но тут же вскакивал и вновь принимался ходить. Каждые пять минут он заглядывал в переднюю, проверяя, не освободился ли лекарь. Геродик, прекрасный врач и брат Горгия, стал для Продика настоящим божеством. На этот раз он задержался у больной дольше обычного, а это само по себе было плохим признаком. Наконец дверь спальни открылась, и софист не помня себя бросился навстречу Геродику. Прежде чем задать вопрос, он прочел в глазах лекаря ответ.

Уведя Продика подальше от дверей, чтобы не слышала Аспазия, врач огласил приговор: счет пошел на часы.

— Она не знает, — добавил Геродик, — и не должна узнать. Бывает, что надежда помогает продлить дни и облегчить агонию.

Продик кивнул, стараясь проглотить застрявший в горле ком. Лекарь продолжал:

— У нее страшный жар, сердце бьется совсем слабо, ей трудно дышать. Аспазия слишком стара, ее жизненные силы давно исчерпаны.

Софист проводил Геродика до двери и долго смотрел ему вслед. У него дрожали колени. В горле застыл плач. Занималось утро, самое обычное утро, по небу лениво плыли первые осенние облака, в вышине купались стрижи со стрельчатыми хвостами.

Аспазия лежала на спине, укрытая одеялом, седые волосы разметались по подушке, в глазах не было ни боли, ни страха. Увидев Продика, женщина произнесла тихим, дрожащим голосом:

— Этот Геродик совсем не умеет врать. Что он тебе сказал?

Продик помнил предостережения лекаря. Но сейчас, наедине с больной, он чувствовал, что лгать бесполезно и глупо. Голос софиста предательски сорвался:

— Он сказал, что ты умираешь, Аспазия. Женщина глубоко вздохнула и опустила ресницы.

— Хорошо, — сказала она тихо.

Софист присел на край ложа. Он из последних сил сдерживал слезы, никогда в жизни ему не хотелось плакать так сильно, как сейчас.

— Скажи, что я могу для тебя сделать.

Аспазия протянула ему дрожащую узкую руку. Продик ласково сжал ее. Ладонь женщины горела.

— Не позволяй, чтобы на могиле писали эти глупые женские эпитафии: «Она была прекрасной матерью и хранительницей очага», ладно?

Продик грустно улыбнулся.

— Только через мой труп.

— Ты всегда был рядом в трудную минуту, друг мой.

— От меня не так-то просто отделаться. Женщина рассмеялась и тут же зашлась в страшном сухом кашле.

Продик совсем растерялся. Он зажег лампу и вытер со лба подруги холодный пот.

— Хорошие люди, — проговорила Аспазия, — уходят вовремя, чтобы никому не стать обузой.

Продик взял ее худую руку и бережно поднес к губам. Женщина опустила ресницы.

— Жизнь была добра ко мне, — произнесла она.

— Ты оказалась умнее меня. Такие, как я, заняты бесплодными поисками смысла; а ты радовалась жизни, не стараясь ее понять. Вот в чем состоит главное различие между нами.

— Милый Продик, я бы радовалась жизни куда сильнее, если бы не мое упрямство. Сколько раз я шла на поводу у своей гордости и горько сожалела об этом. Из-за нее я чуть не потеряла тебя навсегда. Я никогда не пыталась побороть свои слабости и теперь ни о чем не жалею. И все же моя жизнь была бы куда счастливее, если бы ты всегда был рядом.

Продик несмело прижался щекой к ее груди, стараясь справиться со слезами.

— Только несчастная любовь может длиться вечно.

В тот же день Аспазию навестила Необула. Продика, который подслушивал в коридоре, едва не стошнило от омерзения. Софист, больше всего на свете ненавидевший лицемерие, с трудом выносил фальшивые соболезнования гетеры. Обе женщины исполняли заведенный для таких случаев ритуал столь тщательно, что Продик начал сомневаться, не насмехаются ли они друг над другом.

Необула рыдала, целовала Аспазии руки, называла своей благодетельницей. Добрая женщина подобрала и пригрела ее, бедную сироту, заменила ей мать, дала крышу над головой и новую семью, воспитала и помогла стать на ноги. Необула призналась, что всегда завидовала уму и красоте своей хозяйки, ее успехам у мужчин и ролью, которую она играла в золотые годы Афин, пока был жив Перикл. В конце концов, гетера объявила, что Аспазия всегда служила ей примером для подражания.

— Мы хотим, чтобы в «Милезии» все оставалось, как при тебе, — сказала Необула. — Но боюсь, нам будет не хватать твоего опыта и воли.

— Ты справишься с этим лучше меня, — возразила Аспазия. — Вы уже подыскали мне замену?

— Мы говорили об этом, но никому из нас не удержать такую ношу.

— Никому, кроме тебя, Необула.

Гетера снова принялась осыпать руку хозяйки поцелуями.

— Это так лестно, но я не смогла бы…

— Мы с тобой очень разные, Необула. Я хочу сказать тебе, пока еще не поздно: я знаю, всегда знала, что совершила непоправимую ошибку, когда ты была совсем девочкой. Я не подготовила тебя к тому, что должно произойти, и позволила причинить тебе боль. Потом я горько раскаивалась, хоть и не решалась сказать тебе об этом. А теперь послушай меня, Необула. — Аспазия взяла гетеру за подбородок и заглянула ей в глаза. — Никто, кроме тебя, не справится с «Милезией». У тебя одной хватит и ума, и храбрости. Я хочу видеть тебя своей преемницей.

Польщенная Необула опустила глаза.

— Постарайся обуздать свою гордость, — продолжала Аспазия, — это обоюдоострое оружие. Научись правильно владеть им. Начинается великая битва. Ты очень сильная и рождена, чтобы властвовать. Быть может, ты не самая утонченная из всех, но уж точно — самая толковая.

— Я все сделаю, Аспазия, обещаю.

— Оставляя «Милезию» в твоих руках, я могу умереть спокойно.

Продику оставалось лишь покачать головой, отдавая должное проницательности Аспазии. В этой женщине не было ничего от Сократа с его философией. Она всегда оставалась софистом до мозга костей.

### ГЛАВА XXXIII

Тусклая луна качалась на черной глади Фалер и бросала отблески на покрытую желтоватой пеной гору гниющей рыбы, сваленной на молу, в полутьме проступали неясные очертания столов и прилавков рыбного рынка. Лодки дремали у причала, старое дерево трещало и кряхтело во сне. Ветер доносил звуки музыки и смех из портовых борделей.

Необула внимательно слушала человека, притаившегося в темноте, под лестницей, ведущей к Фалерам. Ее собеседник говорил горячо и страстно, но каждое его движение выдавало прежде неведомый ему страх. Гетера тщетно искала в лице мужчины черты человека, которого она когда-то полюбила. Теперь от прежнего героя осталась лишь тень. Он говорил о далеких краях, в которых она уже бывала, о девственных лесах, зеленых лугах, о страстных персидских ночах, о мире, которого больше нет, юном, просторном и свободном. Теперь его речи казались женщине пустыми и постыдными: что толку в юношеских грезах, молодость прошла, а он никак не хочет это признать.

Необула видела, что ее друг живет прошлым, перебирая старые легенды и тщетно пытаясь воскресить былую славу. Он говорил так, словно все еще оставался молодым, словно война не кончилась, словно не было долгих лет изгнания, словно Афины были прежними. Казалось, что он и вправду умер, что прах его покоится под могильным камнем.

Мужчина продолжал произносить ненужные слова, не замечая горького презрения в глазах женщины, а она думала, что его рот, когда-то тонкий, язвительный и чувственный, стал тусклым и вялым, как у выброшенной на берег рыбы. Он потянулся, чтобы поцеловать ее. Гетера отвернулась. Она сказала, что на этот раз не пойдет за ним, что ее место здесь, в этом городе.

— Постарайся понять, нас ничто больше не связывает. Уходи.

Он имел неосторожность напомнить ей о тех словах, что она произнесла много лет назад, когда он велел ей покинуть его и вернуться в Афины, о том, как она умоляла его позволить ей остаться и разделить с ним тяготы изгнания, о том, как она клялась ему в вечной любви. Не в силах больше сдерживать себя, Необула бросилась прочь. Мужчина схватил ее за руку и заставил повернуться; гетера увидела в его глазах прежнюю ярость, и ей стало страшно. Он предложил спуститься к лодкам, там было безопаснее. Испуганная гетера согласилась и даже заставила себя улыбнуться.

К счастью для Необулы, гребцы проводили ночь в борделе, иначе он приказал бы им связать женщину и втащить на борт силой, как пленницу. Необула прошла на корму и застыла спиной к своему спутнику, провожая глазами едва различимый во тьме огонек проходившего мимо корабля. Еще не поздно было броситься в воду и спастись бегством. Необула застыла в нерешительности и вдруг почувствовала за спиной ненавистное дыхание мужчины, ощутила его поцелуи на своей шее, его руки на своем теле. Он говорил ей нежные слова, которые она любила когда-то, называл диким цветком, погибелью мужчин. Женщина впервые со всей ясностью ощутила желание убить его. Она закрыла глаза и сжала зубы, позволяя его губам скользить по своей коже, его рука скользнула под легкую ткань пеплума и ласкала ее бедро. Знакомый запах слегка кружил ей голову, пробуждая мучительные воспоминания. Он затащил ее под навес, опрокинул навзничь, порвал одежду, грубо навалился сверху. Необула не стала сопротивляться. Она послушно раздвинула ноги, словно собиралась отдаться посетителю в доме свиданий, разрешила ему войти в себя и принялась ритмично двигать бедрами, заставляя его стонать от удовольствия. Гетера позволила ему перевернуть себя и войти сзади, она сжимала его руки, раскачивалась в такт его движениям, а сама думала: «Я убью его, убью прямо здесь, этой ночью», и ненавидела всем существом. Нащупав рукоять кинжала, она ощутила острое наслаждение и застонала, позволяя ему проникнуть так глубоко, как он только мог, и он тоже застонал, зарычал по-звериному и повалился на нее, потный, красный, выжатый, омерзительный, ослепший от страсти. Прежде чем вонзить в сердце мужчины клинок, она заглянула в его широко открытые глаза. И поняла, что он счастлив принять смерть от ее руки.

### ГЛАВА XXXIV

Спустя три года после тех загадочных похорон Продик пришел на могилу стратега, чтобы найти подтверждение своим догадкам.

Едва рабы начали поднимать гроб, в нос Продику ударил нестерпимый могильный запах. Софист отпрянул назад, стараясь не смотреть в яму. После нескольких бесплодных попыток вытащить ржавые гвозди, рабы решили разбить массивную сосновую крышку. Продик отошел подальше, чтобы уклониться от разлетавшихся в разные стороны щепок. Дерево вскоре треснуло, теперь оторвать крышку не составляло труда. Продик нерешительно заглянул внутрь. В гробу лежали мешки с землей. Три мешка с землей, и больше ничего. Софист мог праздновать победу. Настал миг его торжества, награда за немыслимые усилия. Вот они, славные останки, старый лис ловко обвел вокруг пальца все Афины. Как же он потешался, должно быть, наполняя мешки землей. Продик чувствовал себя человеком, разыскавшим неизвестный шедевр прославленного мастера.

Софист приказал рабам зарыть пустой гроб обратно и вернуть на место надгробие. Продик испытывал пьянящее чувство торжества после победы над сильным и коварным противником. Пока рабы закапывали могилу, он решил прогуляться среди могильных камней и сосен, чтобы как следует все обдумать. В небе метались стайки стрижей.

Медленно ступая среди могил, Продик рассуждал, что Алкивиад скорее всего пробрался в Афины, чтобы освободить Сократа. Впрочем, он мог не поспеть вовремя — морской путь из Фракии в Афины занимал не одну неделю. Продик решил подсчитать, когда именно Алкивиад мог узнать о приговоре и сколько времени ему понадобилось, чтобы добраться до города. А что если философ не стал опровергать предъявленные обвинения, поскольку надеялся, что Алкмеонид придет к нему на выручку, вернется в Афины и, возможно, сумеет совершить переворот, чтобы создать идеальную Республику, о которой мечтал Сократ? Сделанное Продиком открытие позволяло строить любые предположения и оставляло немало вопросов. Каковы были дальнейшие планы Алкивиада? Что если он вместе со своими сообщниками готовил восстание? Продик с ходу отверг такую возможность. Бывшему стратегу не на кого было опереться. Большинство его союзников сгинуло после падения Тирании Тридцати. Скорее всего, Алкивиад был совершенно одинок и беспомощен.

Из глубокой задумчивости Продика вывел стук лопат. В одной стадии от него хоронили какого-то человека. Софист подошел поближе. Могилу рыли пятеро чужестранцев, по виду — рабы-гребцы. Мельком поглядев на незнакомца, они продолжали копать. Продик поздоровался. Ответа не последовало. Бросив взгляд на окровавленный труп, софист тут же узнал его.

Перед ним лежал Алкивиад.

В этом не было никаких сомнений. На груди у стратега зияла глубокая рана. Продик стал произносить слово «друг» на разных языках, пока не добрался до персидского. Рабы закивали.

— Кто его убил?

Гребцы переглянулись и снова уставились на Продика, то ли с презрением, то ли с недоверием, то ли просто не понимая. Ответа не было. Наклонившись к трупу, Продик заметил, что он сжимает в руке шелковый лиловый шарфик.

Закончив копать, гребцы подхватили труп за руки и за ноги и бросили в могилу. Он упал на дно с глухим звуком, на поверхность взметнулись комья сухой земли. Рабы торопливо зарыли могилу, не выказывая никаких чувств, взвалили лопаты на плечи и поспешили прочь.

Продик сел в повозку и велел гнать во весь опор, чтобы поскорее добраться до дома Аспазии. Ему не терпелось принести женщине добрые вести. Софист вбежал в спальню подруги и застыл на пороге. Он ясно расслышал поступь Смерти.

Руки Аспазии были холодны, как лед, как железо, как могила, черты ее разгладились и застыли, в глазах не было никакого выражения, словно у статуи. Аспазии больше не было, от нее осталось лишь неподвижное, ненужное, поблекшее тело. Продик спрашивал себя, видит ли она его сейчас, смотрит ли на него, как он смотрит на нее.

### ГЛАВА XXXV

ПРОДИК выполнил свою миссию слишком поздно. Ночью друзья сожгли тело Аспазии на горе Ликабет, и синеватый дым поднимался к далеким звездам. Двести человек стояли вокруг костра, сжимая в руках факелы, и беззвучно возносили молитвы богам. На похороны пришли в основном женщины, но были и мужчины, а среди них — немало известных и влиятельных людей. Продик добился, чтобы не было ни музыкантов, ни плакальщиц; Аспазию всегда угнетало показное горе помпезных похорон.

Церемония получилась скромной, тихой и достойной, как раз такой, как хотелось бы покойной. Вместе с пеплом по ветру развеяли лепестки анемон. Оратор Лисий произнес короткую, складную речь, которая никому не запомнилась. Люди расходились молча, погруженные в собственную печаль.

Продик, не колеблясь, воспользовался давно утерянным званием посла, — о его отставке знали только Аспазия и правитель Кеоса, — чтобы добиться аудиенции у членов Ареопага; он заявил, что готов прояснить обстоятельства смерти Анита. Ответ последовал незамедлительно: софисту надлежало явиться в последний день боэдромиона[[99]](#footnote-99), когда заканчивался сбор винограда.

День выдался ветреный, в воздухе чувствовалось дыхание осени. После смерти Аспазии у Продика началась бессонница, по утрам его мучили головные боли. От боли у софиста едва не лопались глазные яблоки, он чувствовал острую жалость к себе вперемешку со стыдом и горечью, ощущал себя старой развалиной, полусгнившим остовом затонувшего корабля. Собравшись с силами, софист выбрал подходящее платье, чтобы предстать перед судьями подобающим образом, и даже попытался отрепетировать речь. Впрочем, вскоре он оставил эти попытки, положившись на дар красноречия, имевший обыкновение просыпаться в критические моменты.

У подножия холма Ареса Продик вылез из повозки и проделал оставшуюся часть пути пешком, в надежде, что свежий ветер пойдет ему на пользу. Ареопагиты расположились на трибунах, неподвижные, словно статуи. Софист поклонился. Старцы глядели на него сверху вниз со своей высокой трибуны; Продик подумал, что это отличный способ подчеркнуть свое положение и унизить просителя. У софиста было отвратительное ощущение, что его вот-вот вырвет прямо на землю священного холма, во славу Ареса и всей олимпийской шайки. Нужно было собраться, хотя бы ради Аспазии. Продик проглотил слюну и крепко сцепил пальцы на животе, словно надеялся усмирить свой желудок.

Неудачное начало жертвоприношения отвлекло софиста от неурядиц в собственном организме. Подхваченный ветром пепел полетел прямо на старцев, заставив их кашлять и вытирать слезы, а огонь в треножнике никак не хотел разгораться. Зрелище вышло столь комичным, что Продик немного приободрился, несмотря на то что боль все еще пульсировала в его висках. Наконец прислужники помогли старцам привести себя в порядок, водрузили курильницу на жертвенный алтарь и после двух неудачных попыток все-таки сумели разжечь огонь.

Откашлявшись, обескураженные судьи пробормотали неловкие извинения, и Продик почувствовал к ним что-то вроде симпатии, хоть и старался не поднимать глаз, чтобы не показаться чересчур дерзким. Наконец кровожадный бог получил свои жертвы. Настал черед софиста. Продик почти вплотную подошел к трибуне, опасаясь, что среди архонтов могут оказаться глухие, и заговорил, стараясь перекричать ветер:

— Досточтимые граждане! Я, посол Кеоса, по поручению Аспазии из Милета расследовал обстоятельства убийства Анита, чтобы передать преступника в руки правосудия. Я пришел сюда именем Аспазии, которой, к великому сожалению, больше нет с нами. Я начал расследование в тот момент, когда эта достойная женщина уже была тяжело больна, и теперь, завершив его, выполняю данное ей обещание защитить доброе имя «Милезии» и смыть с ее гетер и гостей пятно позора.

Прервавшись на мгновение, Продик оглядел суровые, морщинистые лица архонтов, которые нетерпеливо слушали, кутаясь в свои туники. Софист понял, что старцы ловят каждое его слово, ожидая, когда он совершит непоправимую ошибку.

— Я осмелился предстать перед Ареопагом, чтобы выполнить обещание и сообщить вам о результатах своего расследования. Мною были опрошены все подозреваемые, ранее заявившие о своей невиновности, и, тщательно проверив их показания, я пришел к выводу, что все они говорили правду. Можно с уверенностью сказать, что подозрения в отношении гетер или посетителей дома свиданий не нашли подтверждения: ни у одного из них не было ни мотива, ни возможности, чтобы совершить это преступление. Насколько мне известно, смерть Анита сочли убийством, а не самоубийством потому, что на рукояти ножа, вонзенного в его сердце, лежала правая рука, в то время как Анит был левшой. В этом я вынужден согласиться с уважаемыми судьями. Однако было бы ошибочно полагать, что рука самоубийцы непременно должна была лечь на рукоять непосредственно в момент его смерти. Исходя из этого, я не могу исключать, что покойный убил себя сам. Рассмотрим эту возможность. Можно ли считать, что положение тела, при котором правая рука лежит на рукояти ножа, означает, что удар был нанесен именно этой рукой? Откуда нам известно, что во время агонии поза умирающего оставалась неизменной? Я осмелюсь предположить, что перед смертью покойный мог положить правую руку на рукоять, сознательно или неосознанно. Не исключено, что он пытался вонзить оружие глубже или, напротив, вытащить его из раны.

Продик остановился, чтобы передохнуть. Голова больше не болела. Глядя на дым жертвенного костра, софист надеялся, что Аспазия слышит его. Он продолжал:

— Предположим, досточтимые граждане, что Анит все же совершил самоубийство. Можем ли мы судить о мотивах его поступка? Они никому неизвестны, все наши версии будут лишь более или менее вероятными допущениями. Тем не менее, в ведении суда находится определение виновного и назначение наказания. В том случае, когда жертва сама наносит себе смертельный удар, преступление само по себе является наказанием. Правосудию нечего к этому добавить. Я смею надеяться, что, принимая решение о судьбе дома свиданий, вы учтете огромную роль, которую это заведение играет в жизни города, и весьма высокую вероятность волнений, которые последуют за его закрытием. В ходе расследования мне, помимо прочего, удалось выяснить, что гетеры «Милезии» почитают Афродиту и Афину, помнят о долге, соблюдают законы и приносят городу огромную пользу. Закрытие дома свиданий не принесет Афинам ничего, кроме распрей и смуты. Досточтимые граждане! Трудно переоценить вклад покойной ныне супруги великого Перикла в укрепление нашей демократии и перечислить добрые дела, совершенные ею во славу Афины, защитницы нашего города. В память о ней я прошу вас проявить добрую волю.

Слово взял старейший ареопагит, смущенный и тронутый речью Продика:

— Достославный софист, оратор и посол! Мы с превеликим удовольствием выслушали твои слова и разумные советы и ценим твою заботу о благосостоянии нашего города, а также о памяти почтенной Аспазии, кончину которой все мы горько оплакиваем. Наше собрание вскоре вынесет свое решение. Мы примем его, полагаясь на милость Зевса, и немедленно известим тебя.

Продик не верил в истину, он верил только в здравый смысл. Софист соглашался с Протагором в том, что каждый шаг человека сопряжен с выбором: мы выбираем, действовать или бездействовать, говорить или молчать, отстаивать правду или лгать, если это необходимо, и от того, насколько прозорливы мы были в своем выборе, зависит наша судьба. Продику не дано было понять Сократа, искренне верившего в существование изначальной истины и абсолютного блага.

Софисту предстояло выбрать, что делать дальше. Афины влекли его из-за Аспазии, а теперь это был самый обыкновенный город, мертвый город, утративший душу. Вещая сова покинула его. Пора было собираться в путь: его расследование завершилось, а «Милезия» находилась в надежных руках Необулы, и Продик не сомневался, что она станет управлять домом свиданий твердо и мудро.

Сначала софист хотел откровенно поговорить с Необулой, но потом решил оставить все как есть. Продику не давали покоя вопросы, оставшиеся без ответа. Главный вопрос был связан с мотивом преступления. Едва ли Алкивиад так сильно любил бывшего наставника, что стал преследовать Анита. Скорее всего, он мстил за свою женщину, а вернее сказать — был орудием мести в руках Необулы. Впрочем, эта загадка уже не могла захватить софиста и избавить его от печальных раздумий. Продик твердо решил, что дождется решения Ареопага и вернется на Кеос.

### ГЛАВА XXXVI

Ареопаг снял с гетер «Милезии» все подозрения. Дому свиданий было позволено и впредь принимать гостей. В честь такого события устроили веселый праздник. В тот вечер денег ни с кого не брали, а танцы продолжались до самого утра.

Продик выполнил свою миссию. Ни в Афинах, ни в его собственном сердце уже не могло произойти никаких важных перемен. Существовавший в реальности каменный город волновал софиста куда меньше, чем тот, что существовал в его памяти. Продика окружали воспоминания, печальные вестники скорого конца. Если в Афинах еще оставался кто-нибудь живой, старику не хотелось прощаться с ним. Если у богов и слепого случая еще было чем удивить софиста, он ничего не желал об этом знать.

Продик стал снаряжать посольское судно, чтобы навсегда покинуть земли Паллады и вернуться на Кеос, под солнце Гесперид. Он оставлял позади свою любовь.

Продик был стар, болен и жил воспоминаниями. Для него уже не существовало настоящего и будущего. Куда реальнее казался мир памяти: липа во дворе отбрасывала резную тень на нежное лицо матери; они с Аспазией, совсем молодые, гуляли рука об руку среди тростников Саламина, в небе тянулся серый гусиный клин, и она внезапно обняла его и поцеловала. Как-то раз они с Протагором, уже не наставником, а просто другом, повстречали на берегу реки Илис, у Калиорского источника симпатичного чудака, который называл себя геометром и членом секты пифагорейцев. Незнакомец чертил палочкой на песке круги и линии. А потом вывел удивительно красивую теорему, прозрачную, как стекло, и точную, как сама истина: тогда Продику впервые явилась красота дерзкой человеческой мысли, смиренной строгими законами логики.

Перед отплытием софист выполнил второе поручение своей подруги: придумал эпитафию для надгробия Сократа. Все утро он старался подобрать слова, которые отразили бы сущность его философии, но тщетно. В памяти софиста Сократ остался живым мертвецом, по ошибке оказавшимся среди людей, ходячей аллегорией истины и добродетели. В конце концов, он выпил цикуту во славу своего учения, и Афины смогли перевести дух.

И Продик заказал в мастерской Фидия надгробную плиту с надписью:

Здесь лежит Сократ. Великий покойник.

В сердце своем софист носил совсем другую эпитафию. Продик повторял ее до конца своих дней:

*Здесь лежит Аспазия из Милета, прожившая на свете шестьдесят шесть лет, мудрая, словно Паллада, прекрасная, словно Паллада, та, что многому нас научила, та, которую мы так любили.*

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](http://royallib.ru/comment/garsiavalino_ignasio_/dve_smerti_sokrata.html)

[Все книги автора](http://royallib.ru/author/garsiavalino_ignasio_.html)

1. Перевод А.К. Гаврилова. — Здесь и далее прим. пер. [↑](#footnote-ref-1)
2. Некоторые даты приведены автором приблизительно. [↑](#footnote-ref-2)
3. Антиполис — греческая колония в Средиземноморье. Основана в IV в. до н. э. В IV–V вв. до н. э. эта местность стала ареной нескольких крупных сражений. [↑](#footnote-ref-3)
4. Аспазия (Аспасия, ок. 470до н. э. — ?) — гетера в Древних Афинах. Отличалась умом, образованностью и красотой; в ее доме собирались художники, поэты, философы. Перикл (ок. 490–429 до н. э.) — афинский стратег в 444/443—429 (кроме 430) гг. — вождь демократической группировки. Законодательные меры Перикла (отмена имущественного ценза, замена голосования жеребьевкой при предоставлении должностей, введение оплаты должностным лицам и др.) способствовали расцвету афинской демократии. Инициатор строительства (Парфенон. Пропилеи, Одеон). Стремился к усилению Делосского союза; руководитель ряда военных кампаний во время Пелопоннесской войны. Умер от чумы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Эгида — в древнегреческой мифологии щит Зевса, символ покровительства и гнева богов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Анит — влиятельный политический деятель в Афинах V в. до н. э., один из главных обвинителей на процессе Сократа. [↑](#footnote-ref-6)
7. Обол — единица веса (массы) и медная, серебряная, бронзовая монета в Древней Греции. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ареопаг — афинское судилище, расположенное на холме Ареса, неподалеку от Акрополя. [↑](#footnote-ref-8)
9. Сапфо (Сафо, VII–VI вв. до н. э.) — греческая поэтесса. Стояла во главе кружка знатных девушек, которых обучала музыке, слаганию песен и пляскам. [↑](#footnote-ref-9)
10. Протагор (ок. 480 — ок. 410до н. э.) — греческий философ, основатель школы софистов. [↑](#footnote-ref-10)
11. Продик — греческий философ V в. до н. э., принадлежал к школе софистов. [↑](#footnote-ref-11)
12. Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — греческий комедиограф. [↑](#footnote-ref-12)
13. Фидий — греческий скульптор второй половины V в. до н. э. Среди его работ — статуи олимпийских богов, установленные на Акрополе в честь победы афинян над персами, и скульптурное убранство Парфенона. [↑](#footnote-ref-13)
14. Метеки — в Древней Греции чужеземцы, а также рабы, отпущенные на волю. Лично свободные, они не имели, однако, политических прав. Среди метеков встречались богатые рабовладельцы, торговцы, владельцы ремесленных мастерских. [↑](#footnote-ref-14)
15. Скорее всего, автор имеет в виду комедию Аристофана «Женщины в народном собрании», однако эта пьеса была написана значительно позже описанных в романе событий, в 392 г. до н. э. [↑](#footnote-ref-15)
16. Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.) — греческий философ, основатель первой школы философии в Афинах. [↑](#footnote-ref-16)
17. Софокл (ок. 496 до н. э. — 406 до н. э.) — греческий драматург, автор трагедий. [↑](#footnote-ref-17)
18. Полис — город-государство; форма социально-политической организации, характерная для Древней Греции и Древнего Рима. [↑](#footnote-ref-18)
19. Горгий (ок. 480 — ок. 380до н. э.) — греческий философ-софист. В сочинении «О природе, или О несуществующем» выдвинул три тезиса: ничего не существует; если бы нечто существовало, то было бы непознаваемо; если бы нечто было познаваемо, то познанное было бы невыразимо. [↑](#footnote-ref-19)
20. Гиппий (V в. до н. э.) — греческий философ-софист, вел жизнь странствующего учителя и часто выполнял посольские миссии своего родного города. Выведен (в карикатурном виде) собеседником Сократа в диалогах Платона «Ги п п и й Больший» и «Ги п п и й Меньший». [↑](#footnote-ref-20)
21. Фалес (625–547 до н. э.) — древнегреческий философ; родоначальник античной философии и науки. [↑](#footnote-ref-21)
22. Лупанарий — публичный дом в античной Греции и Риме. [↑](#footnote-ref-22)
23. Гинекей — женские покои в задней части древнегреческого дома. [↑](#footnote-ref-23)
24. Стратег — в античной Греции военачальник, обладавший широкими политическими полномочиями. [↑](#footnote-ref-24)
25. Лакедемон — другое название Спарты. [↑](#footnote-ref-25)
26. Гермип — древнегреческий поэт, автор сатирических стихотворений. [↑](#footnote-ref-26)
27. Алкмеониды — аристократический род, давший Афинам немало известных политических деятелей. [↑](#footnote-ref-27)
28. Архонты — высшие должностные лица в древнегреческих полисах. В Афинах ок. сер. VII в. до н. э. коллегия архонтов состояла из 9 лиц. В V в. до н. э. утратили значение. [↑](#footnote-ref-28)
29. Делосская лига (Первый афинский морской союз) — союз древнегреческих приморских городов и островов Эгейского моря в 478/477-404 до н. э., сложившийся в результате Персидских войн под гегемонией Афин. Собрания членов союза проходили на о. Делос, в святилище Аполлона. Распущен после поражения Афин в Пелопоннесской войне. [↑](#footnote-ref-29)
30. Гипподам — греческий зодчий и градостроитель V в. до н. э. [↑](#footnote-ref-30)
31. Панафейская дорога — дорога, проходившая через всю Аттику. [↑](#footnote-ref-31)
32. Агора — базарная площадь и место народных собраний в древнегреческих городах. [↑](#footnote-ref-32)
33. Еврипид (ок. 480–406 до н. э.) — греческий драматург. [↑](#footnote-ref-33)
34. Сократ (470—399дон. э.) — греческий философ-моралист; непримиримый противник софистов. Один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем постановки наводящих вопросов. Казнен по обвинению в непочтении к богам и развращению молодежи. [↑](#footnote-ref-34)
35. Демосфен (ок. 384—322до н. э.) — греческий оратор и политический деятель. [↑](#footnote-ref-35)
36. Драхма — древнегреческая серебряная монета, чеканилась с VI в. до н. э. [↑](#footnote-ref-36)
37. Кифара (китара) — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент. Сначала струн было 7, позднее — до 12. [↑](#footnote-ref-37)
38. Элевсинские мистерии — ритуалы в честь бог инь Де-метры и Персефоны, совершавшиеся в аттическом городе Элевсине. [↑](#footnote-ref-38)
39. Менады — жрицы древнегреческих аграрных культов, во время празднеств, впадавшие в ритуальное неистовство. [↑](#footnote-ref-39)
40. Алкивиад (ок. 450–404 до н. э.) — политический и военный деятель древних Афин. [↑](#footnote-ref-40)
41. Декелейские шахты — горные разработки в Аттике; одна из основ экономического благополучия Афин. [↑](#footnote-ref-41)
42. Автор излагает историю Алкивиада достаточно вольно. На самом деле в 407 г. до н. э., после ряда поражений в битвах со спартанцами, стратега обвинили в измене, и ему пришлось бежать сначала во Фракию, затем в Персию, где он был убит тамошним правителем по наущению спартанских лазутчиков. [↑](#footnote-ref-42)
43. Вероятно, автор имеет в виду вдову видного политика Аристио-на, мать философа Платона. [↑](#footnote-ref-43)
44. В битве при Эгоспотамах в 405 г. до н. э. спартанцы нанесли сокрушительное поражение афинскому флоту. [↑](#footnote-ref-44)
45. Палестра — частная гимнастическая школа в Древней Греции. [↑](#footnote-ref-45)
46. Киликс — разновидность кувшина. [↑](#footnote-ref-46)
47. Эсхил (ок. 525–456 до н. э.) — греческий поэт-драматург, «отец трагедии». Был свидетелем подъема афинской демократии, с чем связано присущее его творчеству настроение суровой бодрости и доверия к справедливому устройству мира, но также и страха перед возможным нарушением человеком мировой «меры». [↑](#footnote-ref-47)
48. Архилох — греческий лирик VII в. до н. э.; изобретатель ямба. [↑](#footnote-ref-48)
49. Аристофан нередко писал комедии по заказу богатых афинян. Одной из заказчиц была Аспазия. [↑](#footnote-ref-49)
50. Кинезий — богатый афинянин, прототип одного из персонажей комедии Аристофана <Лисистрата». [↑](#footnote-ref-50)
51. Трирема — боевое гребное судно с тремя рядами весел. [↑](#footnote-ref-51)
52. В морском сражении при Аргинузах спартанский флот потерпел поражение от афинян. [↑](#footnote-ref-52)
53. Триерарх — в Древней Греции командир боевой флотилии. [↑](#footnote-ref-53)
54. Народная ассамблея — выборная судебная коллегия в древних Афинах. [↑](#footnote-ref-54)
55. Булетерион — место судебных заседаний в Афинах. [↑](#footnote-ref-55)
56. Баратры — пропасть в окрестностях Афин; место казни преступников. [↑](#footnote-ref-56)
57. Антисфен (ок. 435–370 до н. э.) — греческий философ; основатель школы киников. [↑](#footnote-ref-57)
58. Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н. ч.) — греческий философ. [↑](#footnote-ref-58)
59. Фукидид (ок. 460—400до н. э.) — греческий историк: автор «Истории Пелопонесской войны». [↑](#footnote-ref-59)
60. Платон (428–347 до н. э.) — греческий философ; автор суждения об онтологической триаде. Диалоги Платона — единственный дошедший до нашего времени источник философских воззрений Сократа. [↑](#footnote-ref-60)
61. По преданию — последний царь Аттики переддорийским завоеванием (XI в. до н. э.), положившим конец единоличному правлению в Афинах. [↑](#footnote-ref-61)
62. Дропиды — знатный афинский род. [↑](#footnote-ref-62)
63. Солон (635 — ок. 559 до н. э.) — греческий политический деятель; провел ряд реформ, определивших сущность афинской демократии. [↑](#footnote-ref-63)
64. Арисгион — афинский политический деятель 1-й половины V в. до н. э. [↑](#footnote-ref-64)
65. В переводе с древнегреческого «платой» означает «широкоплечий». [↑](#footnote-ref-65)
66. Критий (ок. 460–403 до н. э.) — афинский политический деятель и писатель. В 404 г. возглавил тиранию Тридцати. Спустя год погиб в битве со сторонниками демократии. [↑](#footnote-ref-66)
67. Тирания Тридцати — олигархический режим, установившийся после падения афинской демократии в 404 г. до н. э. [↑](#footnote-ref-67)
68. Фрасибул (ум. 388 дон. 9.) — афинский полководец и политический деятель; возглавил борьбу против тирании Тридцати. [↑](#footnote-ref-68)
69. Лисий (ок. 435–380 дон. э.) — афинский оратор и логограф, сторонник демократической группировки. Лисию приписывают свыше 200 речей, написанных на заказ (до нас дошло около 40), и включают его в число 10 лучших ораторов древности. [↑](#footnote-ref-69)
70. Геродик — афинский врач V в. до н. э.; учитель Гиппократа. [↑](#footnote-ref-70)
71. Олимпионики — победители олимпийских игр в Древней Греции. [↑](#footnote-ref-71)
72. Совет Четырехсот) була) — законодательное собрание в древних Афинах. [↑](#footnote-ref-72)
73. Филолай (ок. 500 — ок. 420до н. э.) — греческий философ-пифагореец. [↑](#footnote-ref-73)
74. Феодор — древнегреческий математик; был близок к кружку софистов. [↑](#footnote-ref-74)
75. Геродот (ок. 480 — ок. 425 до н. э.) — греческий историк; автор труда, посвященного греко-персидским войнам. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ге к а т о м б е о н — первый месяц афинского календаря (конец июля — начало августа). [↑](#footnote-ref-76)
77. Кратера — в Древней Греции керамический, металлический или мраморный сосуд для вина. [↑](#footnote-ref-77)
78. Аполлодор (последняя треть V в. до н. э.) — афинский художник, получил прозвище Скиограф, т. е. тенеписец, т. к. первым начал передавать тени и использовать полутона. [↑](#footnote-ref-78)
79. Эсхин (ок. 390–314 до н. ч.) — афинский оратор, один из вождей олигархической промакедонской группировки, противник Демосфена. [↑](#footnote-ref-79)
80. Федон — древнегреческий философ, ученик Сократа. [↑](#footnote-ref-80)
81. Евклид — древнегреческий философ, ученик Сократа: основатель мегарской философской школы. [↑](#footnote-ref-81)
82. Гимнасии — государственные школы в Древней Греции. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ксенофонт (ок. 430–354 до н. э.) — древнегреческий историк, ученик Сократа. Продолжил трудФукидида «Греческая история». [↑](#footnote-ref-83)
84. Кимберия — разновидность древнегреческой женской одежды. [↑](#footnote-ref-84)
85. Пианепсион — четвертый месяц афинского календаря (конец октября — начало ноября). [↑](#footnote-ref-85)
86. Вероятно, автор имеет в виду известного афинского врача и философа V в. до н. э. [↑](#footnote-ref-86)
87. Гимет — горная вершина в окрестностях Афин. [↑](#footnote-ref-87)
88. Клепсидра — прибор для измерения времени; действует по принципу песочных часов, однако вместо песка используют воду. [↑](#footnote-ref-88)
89. Антигона — в древнегреческой мифологии дочь царя Эдипа; нарушив приказ фиванского правителя, похоронила своего брата, убитого на поединке, и была заживо замурована в его гробнице. [↑](#footnote-ref-89)
90. Филиппид — греческий комедиограф V в. до н. э.; в отличие от Аристофана, отдавал предпочтение безобидным бытовым сюжетам и мало интересовался политикой. [↑](#footnote-ref-90)
91. Гиппократ (460–377 до н. э.) — греческий врач, предполагаемый автор «Клятвы врачевателя». В ней сформулированы основные принципы, которыми должен руководствоваться медик. [↑](#footnote-ref-91)
92. Нард — восточное растение семейства валерьяновых; в Древности ценилось восточное ароматическое вещество, добываемое из него. [↑](#footnote-ref-92)
93. Илоты — в Спарте земледельческая часть населения, собственность государства; были прикреплены к земельным участкам спар-тиатов. Эта категория сложилась, по-видимому, в результате покорения дорийцами предшествовавшего населения Пелопоннеса. [↑](#footnote-ref-93)
94. Лисандр (ум. 395 до н. э.) — спартанский полководец. [↑](#footnote-ref-94)
95. Никий (469–413 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель. [↑](#footnote-ref-95)
96. Гиппарх — афинский тиран в 520–514 гг. до н. э. [↑](#footnote-ref-96)
97. Го п л и т — древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин (V–IV вв. до н. э.). [↑](#footnote-ref-97)
98. К а л и н — греческий поэт VI в. до н. э. [↑](#footnote-ref-98)
99. Боэдромион — третий месяц афинского календаря (конец сентября — начало октября). [↑](#footnote-ref-99)